ИВ. ШМЕЛЕВ — КУЛИКОВО ПОЛЕ ❖ СТАРЫЙ ВАЛААМ

ИВ. ШМЕЛЕВ

КУЛИКОВО ПОЛЕ

СТАРЫЙ ВАЛААМ

YMCA-PRESS
ПАРИЖ

ИВ. ШМЕЛЕВ

КУЛИКОВО ПОЛЕ

(РАССКАЗ СЛЕДОВАТЕЛЯ)

■ ■

СТАРЫЙ ВАЛААМ

YMCA-PRESS
ПАРИЖ



КУЛИКОВО ПОЛЕ

I.

Скоро семь лет, как выбрался я **оттуда**, и верю крепко, что страшное наше испытание кончится благодатно и—невдолге. «Невдолге» — конечно, относительно: случившееся с нами — исторического порядка, а историческое меряется особой мерой. В надеждах на благодатную развязку укрепляет меня личный духовный опыт, хотя это опыт маловера: дай ощупать. И Христос снизошел к Фоме. Да, я — «Фома», и не прикрываюсь. «Могий вместити...» — но большинство не может, и ему подается помощь. Я получил ее.

Живя **там**, я искал знамений и откровений, и когда жизнь наталкивала на них, **ощупывал**, производил как бы следствие. Я-судебный следователь по особо важным делам... был когда-то. В таинственной области знамений и откровений предмет расследования, как и в привычно-земном, — человеческая

душа, и следственные приемы те же, с поправкой на некое «неизвестное». А в уголовных делах — все известно?.. Не раз, в практике следователя, чувствовал я таинственное влияние темной силы, видел порабощенных ею и, что редко, духовное торжество преодоления.

Знамения там были, несомненно. Одно из них, изумительное по красоте духовной и историчности, произошло на моих глазах, и я, сцеплением событий, был вовлечен в него; на-вот, «вложи персты». Страдания народа невольно дополняли знаменные явления... — это психологически понятно, но зерно истины неоспоримо. Как же не дополнять, не хвататься за попираемую Правду?! Расстаться с верой в нее православный народ не может почти фи-зи-чески, чувствуя в ней незаменимую основу жизни, как свет и воздух. Он призывал ее, он взывал... — и ему подавались знаки.

На-род, говорю... православный, русский народ. Почему выделяю его из всех народов? Не я, — Исто-рия. От нее не только не отрекся Пушкин, напротив: заявил, что предпочитает ее всякой другой истории. «Умнейший в России человек», — сказал о нем Николай I. А на днях, читал я письмо другого умнейшего, глубокого русского мыслителя, национального зиждителя душ, — своего рода, мой

коллега, «исследователь по особо важным делам». Вы читали его книги, помните его «о борьбе со злом», удар по «непротивлению» Толстого. В этом письме он пишет:

«...Нет народа с таким тяжким историческим бременем и с такою мощью духовною, как наш; не смеет никто судить временно павшего под крестом мученика; зато выстрадали себе дар — незримо возрождаться в зримом умирании, — да славится в нас Воскресение Христово!..»

Эти слова я связал бы с известными словами о народе — Достоевского, с выводом из истории — Ключевского. Помните, про исключительное свойство нашего народа быстро оправляться от государственных потрясений и крепнуть после военных поражений? Связал бы в «триптих русской духовной мощи».

Я расскажу вам не из истории, а из моих «документов следствия». Ими сам же себя и опрокинул, — мои сомнения.

Народу подавались з н а к и: обновление куполов икон... Э т о и здесь случалось, на родине Декарта, и «разумного» объяснения сему ни безбожники, ни научного толка люди никак не могли придумать: э т о—вне опыта. В России живут сказания, и ценнейшее в них—неутолимая жажда Правды и нетленная красота души.

Вот эта «неутолимая жажда Правды» и есть свидетельство исключительной духовной мощи. Где, в целом мире, найдете вы такую «жажду Правды»? В этом портфеле имеются «вещественные доказательства», могу предъявить.

Как маловер, я применил к «явлению», о чем расскажу сейчас, прием судебного следствия. Много лет был я следователем в провинции, ждал назначения в Москву... — так сказать, качественность моя была оценена... — знаю людские свойства, и психозы толпы мне хорошо известны. В моем случае толпы нет, круг показаний тесный, главные лица — нашего с вами толка, а из народа — только один участник, и его показания ничего сверхъестественного не заключают. Что особенно знаменательно в «явлении»... это — духовно-историческое звено из великой цепи родных событий, из далей — к ныне, свет из священных недр, коснувшийся нашей тьмы.

Первое действие — на Куликовом Поле.

II.

Куликово Поле... — кто же о нем не слышал! Великий Князь Московский Димитрий Иванович разбил Мамая, смертельно шатнул

Орду, потряс давившее иго тьмы. А многие ли знают, где это Куликово Поле? Где-то в верховьях Дона..? Немногие уточнят: в Тульской губернии, кажется...? Да: на стыке ее с Рязанской, от Москвы триста с небольшим верст, неподалеку от станции Астапово, где трагически умирал Толстой, в тургеневских местах, знаемых по «Запискам Охотника». А кто удосужился побывать, ощупать, где, по урочищам, между верховьями Дона и Непрядвой, совершилось великое событие? Из тысячи не наберется и десятка, не исключая и местных интеллигентов. Мужики еще кой-что скажут. Воистину, — «ленивы мы и нелюбопытны».

Я сам, прожив пять лет в Богоявленске, по той же Рязанско-Уральской линии, в ста семнадцати верстах от станции «Куликово Поле», мотаясь по уездам, так и не удосужился побывать, воздухом давним подышать, к священной земле припасть, напитанной русской кровью, душу собрать в тиши, под кустиком полежать-подумать... Как я корю себя, из этого прекрасного далека, что мало знал свою родину, не изъездил, не исходил!.. Не знаю ни Сибири, ни Урала, ни заволжских лесов, ни Светло-Яра... ни Ростова-Великого не видал, «красного звона» не слыхал, единственного на всю Россию!.. Именитый ростовец, купец Титов,

рассказывали мне, сберег непомнящим этот «аккорд небесный», подобрал с колокольными мастерами-звонарями для местного музея... жив ли еще «аккорд»?.. Не побывал и на Бородинском Поле, в Печерах, Изборске, на Белоозере... Не знаю Киева, Пскова, Новгорода-Великого... ни села Боголюбова, ни Дмитровского собора, облепленного зверями, райскими птицами-цветами, собора XI века, во Владимире-на-Клязьме... Ни древнейших наших обителей не знаем, ни летописей не видали в глаза, даже родной истории не знаем путно, Иваны-Непомнящие какие-то. Сами, ведь, иссушали свои корни, пока нас не качнули, — и как качнули!.. Знали избитую дорожку — «По Волге», «на Минерашки», «в Крым». И, разумеется, «за-границу». В чужие соборы шли, все галереи истоптали, а Икону свою открыли перед самым провалом в ад.

Проснешься ночью, станешь перебирать, всякие запахи вспомянешь... — и защемит-защемит. Да как же ты Се-вер-то проглядел, погосты, деревянную красоту поющую — церквушки наши?!.. А видел ли российские каналы—великие водные системы? молился ли в часовенке болотной, откуда родится Волга?.. А что же в подвал-то не спустился, не поклонился священной тени умученного Патриарха Гермогена? А как же...? Не спорьте и не

оправдывайтесь... это кри-чит во мне! А если кричит, — правда. Такой же правдой лежит во мне и Куликово Поле.

Попал я туда случайно. Нет, не видел, а чуть коснулся: «явлением» мне предстало. Было это в 1926 году. Я тогда ютился с дочерью в Туле, под чужим именем: меня искали, как «кровопийцу народного». И вот, один мукомол-мужик, — «кулак», понятно, — из Старо-Юрьева, под Богоявленском, как-то нашел меня. Когда-то был мой подследственный, попавший в трагическую петлю. Долго рассказывать... — словом, я его спас от возможной каторги, обвинялся он в отравлении жены. Он убрался со старого гнезда, — тоже, понятно, «кровопийца», — и проживал при станции «Волово», по дороге на Тулу. Как-то прознал, где я. Написал приятелю-туляку — «доставь спасителю моему». И я получил записочку — «по случаю голодаете, пребудьте екстрено, оборудуем». Эта записочка была для меня блеснувшим во мраке светом и, как увидите, привела к первоисточнику «явления».

Приехал я в «Волово». Крайней нужды не испытывал, и поехал, чтобы — думалось, так, — сбросить владевшее мною оцепенение безысходности... пожалуй, и из признательности к моему «должнику», тронувшему меня во всеобщей ожесточенности. Приехал в замызган-

ной поддевке, мещанином. Было в конце апреля, только березки опушились. Там-то и повстречал участника «действия первого». Он ютился с внучатами у того «кровопийцы»-мукомола, кума или свояка. Пришлось бросить службу в имении, отобранном под совхоз, где прожил всю жизнь, был очень слаб, все кашлял, после и помер вскоре. От него-то и слышал я о начале «явления». Не побывай я тогда в «Волове», так бы и кануло «явление», для меня. Думаю теперь: как бы указано было мне поехать, и не только, чтобы сделать меня участником «явления», исследователем его и оповестителем, но и самому перемениться. Как не задуматься?..

III.

Случилось это в 25 году, по осени.

Василий Сухов, — все его называли Васей, хоть был он уже седой, благообразный и положительный, только в светлых его глазах светилось открыто-детское, — служил лесным объездчиком у купцов, купивших имение у родовитых дворян Ахлябышевых. По соседству с этим имением лежало «Княжье», осколок обширной когда-то вотчины, принадлежавший барину Средневу, родственнику Ахлябышевых

и, как потом я узнал потомку одного из дружинников Димитрия Донского: дружинник этот бился на Куликовом Поле и сложил голову. Барин Среднев променял свое «Княжье» тем же купцам на усадьбу в Туле, с большим яблонным садом. Отметьте это, о Средневе: речь о нем впереди.

Лесное имение купцов расположено в Данковском уезде и прихватывало кусок Тульской губернии, вблизи Куликова Поля. А «Княжье», по каким-то приметам стариков, — отголосок предания? — лежало «на самом Поле». Купцов выгнали, имение взяли под совхоз, а Василий Сухов остался тем же лесным объездчиком. При нем было двое внучат, после сыновей: одного сына на войне убили, другого комитет бедноты замотал за горячее слово. Надо было кормиться.

Поехал как-то Сухов в объезд лесов, а, по нужде, дал порядочный крюк, на станцию «Птань», к дочери, которая была там за телеграфистом: крупы обещала припасти сиротам. Смотался, прозяб, — был исход октября, промозглая погода, дождь ледяной с крупой, захвативший еще в лесах. Сухов помнил, что было это в «родительскую субботу», в «Димитриевскую», в канун Димитрия Солунского. Потому помнил, что в тех местах эту «Димитриевскую субботу» особо почитают, как

поминки, и дочь звала Сухова пирожка отведать, с кашей, -- давно забыли. И внучкам пирожка вез. Как известно, «Димитриевская суббота» установлена в поминовение убиенных на Куликовом Поле, -- и, вообще, усопших, и потому называется еще -- «родительская».

Продрог Сухов в полушубке своем истертом, гонит коня, — до ночи бы домой добраться. Конь у него был добрый: Сухов берег его, хотя по тем временам трудно было овсом разжиться. Гонит горячей рысью, и вот — Куликово Поле.

В точности неизвестно, где границы давнего Куликова Поля; но в народе хранятся какие-то приметы: старики указывают даже, где князь Владимир Серпуховский свежий отряд берег, дожидался нетерпеливо часа—ударить Мамая в тыл, когда тот погнал русскую рать к реке. Помните, у Карамзина,—«мужественный князь Владимир, герой сего незабвенного для России дня...»? Помните, как Преподобный Сергий, тогда игумен Обители Живоначальныя Троицы, благословил Великого Князя на ратный подвиг и втайне предрек ему — «ты одолеешь»? Дух его был на Куликовом Поле, а отражение битвы видимо ему было за четыреста слишком верст, в Обители, — духовная телевизия.

По каким-то своим приметам Сухов опреде-

лял, что было э т о «на самом Куликовом Поле». Голые поля, размытые дороги, полны воды, какие-то буераки, рытвины. Гонит, ни о чем, понятно, не думает, какие же тут «ма-маи», крупу бы че раструсить, за пазуху засунул... — трах!.. — чуть из седла не вылетел: конь вдруг остановился, уперся и захрапел. Что такое...? К вечеру было, небо совсем захмурилось, ледяной дождь сечет. Огладил Сухов коня, отпрукал... — нет: пятится и храпит. Глянул через коня, видит — полная воды колдобина, прыгают пузыри по ней. «Чего боится?..» — подумал Сухов: вся дорога в таких колдобинах, эта поболе только. Пригляделся... — что-то, будто, в воде мерцает... подкова, что ли...? — бывает, «к счастью». Не хотелось с коня слезать: какое теперь счастье! Пробует завернуть коня, волю ему дает, — ни с места: уши насторожил, храпит. Прикрыл ему рукавом глаза, чтобы маленько обошелся, — ни-как. Не по себе стало Сухову, подумалось: может, змею чует... да откуда гадюке быть, с мученика Автонома ушли под хворост...?»

Слез Сухов с коня, поводья не выпускает, нагнулся к воде, пошарил, где мерцало, и вытащил... медный крест! И стало повеселей на душе: святой крест — добрый знак. Перекрестился на крест, поводья выпустил, а конь

и не шелохнется, «как ласковый». Смотрит Сухов на крест: видать, старинный, зеленью-чернотой скипелось, светлой царапиной мерцает, — кто-то, должно, подковой оцарапал.

В этом месте постоянной дороги не было: пробивали в распутицу, кто где вздумал, — грунтовая под лесом шла.

Помолился Сухов на крест, обтер бережно рукавом, видит — литой, давнишний. А в этом он понимал немножко. Из прежних купцов-хозяев один подбирал разную старину-историю, а тут самая-то история, Куликово Поле; ходил с рабочими покопать на-счастье, — какую-нибудь диковинку и найдет: бусину, кусок кольчуги серебряной... золотой раз перстень с голубым камушком откопали, а раз круглую бляху нашли, татарскую, — месяц на ней смеется. С той поры, как битва была с татарами, больше пяти сот лет сошло. Сухов подумал: и крест этот, может, от той поры: земля — целина, выбили вот проезжие в распутицу.

Стал крест разглядывать. Помене четверти, с ушком, — наперсный; накось — ясный рубец, и погнуто в этом месте: секануло, может, татарской саблей. Вспомнил купца-хозяина: порадовался бы такой находке... да нет его. И тут в мысли ему пришло: барину переслать бы, редкости тоже собирал, с барышней ко-

нал... она и образа пишет, — какая бы им радость. А это он про барина из «Княжьего», который усадьбу в Туле у купцов выменил и звал к себе Сухова смотреть за садом. Барин Сухову нравился, и в самую революцию собрался было Сухов уйти к нему, стало в деревне неспокойно, пошли порубки, а барин из Тулы выехал, бросил свою усадьбу и отъехал в Сергиев Посад: там потише. А теперь везде одинаково: Лавру прикончили, монахов разогнали, а мощи Преподобного... Го-споди!... — в музей поставили, под стекло, глумиться.

Смотрел Сухов на темный крест, и стало ему горько, комом подступило к горлу. И тут, на пустынном поле, в холодном дожде и неуюте, в острой боли ему представилось, что все погибло, и ни за что.

— «Обидой прожгло всего...» — рассказывал он, — «будто мне сердце прокололо, и стала во мне отчаянность: внуки малые, а то, кажется, взял бы да и...»

Опомнился — надо домой спешить. Дождь перестал. Смотрит — с заката прочищает, багрово там. Про крест подумал: суну в крупу, лучше не потеряется. Полез за пазуху... — «и что-то мне в сердце толкнуло...» — рассказывал он, с радостным лицом: «что-то как затомилось сердце, затрепыхалось... дыхать трудно...».

IV.

— «Гляжу — человек подходит, посошком меряет. Обрадовался душе живой, стою у коня и жду, будто тот человек мне надобен».

По виду, из духовных: в сермяжной ряске, лыковый кузовок у локтя, прикрыт дерюжкой; шлычок суконный, седая бородка, окладиком, ликом суховат, росту хорошего, не согбен, походка легкая, посошком меряет привычно, смотрит с приятностью. Возликовало сердце, «будто самого родного встретил». Снял шапку, поклонился и радостно поприветствовал: «здравствуйте, батюшка!» Подойти под благословение воздержался: благодатного ли чину? До слова помнил тот разговор со старцем, — так называл его.

Старец ласково «возгласил, голосом приятным»:

«Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир ти, чадо».

От слов церковных, давно неслышимых, от приятного голоса, от светлого взора старца... — повеяло на Сухова покоем. Сухов плакал, когда рассказывал про встречу. В рассуждения не вдавался. Сказал только, что стало ему приятно-радостно, и — «так хорошо поговорили». Только, смутился словно, когда

сказал: «такой лик, священный... как на иконе пишется, в себе сокрытый». Может быть, что и таил в себе, чувствовалось мне так: удивительно сдержанный, редкой скромности, тонкой душевной обходительности, — такие встречаются в народе.

Беседа была недолгая, но примечательная. Старец сказал:

«Крест Христов обрел, радуйся. Чесо же смущаешися, чадо?»

Сухов определял, что старец говорил «священными словами, церковными, как Писание писано», но ему было все понятно. И не показалось странным, почему старец знает, что он нашел крест: было это в дождливой мути, один-на-один с конем, старца и виду не было. И нисколько не удивило, что старец и мысли его провидит, — как бы переслать крест барину. Так и объяснял Сухов:

— «Пожалел меня словно, что у меня мысли растеряны, не знаю, как бы сберечь мне крест... — сказал-то: «чесо же смущаешися, чадо?»

Сказал Сухов старцу:

— «Да, батюшка... мысли во мне... как быть, не знаю».

И рассказал, будто на-духу, как все было: что это, пожалуй, старинный крест, выбили с-под земли проезжие, а это место — самое

Куликово Поле, тут в старинные времена битва была с татарами... может, и крест этот с убиенного православного воина; есть, словно, и отметина, — саблей, будто, посечено по кресту... и вот, взяло раздумье, верному бы человеку переслать, сберег чтобы... а ему негде беречь, время лихое, неверное... и надругаться могут, и самого-то замотают, пристани верной нет: допрежде у господ жил, потом у купцов... — «а нонче, — у кого и живу — не знаю».

И когда говорил так старцу, тесно стало ему в груди, от жалости и к себе, и ко всему доброму, что было... — «вся погибель наша открылась...» — и он заплакал.

Старец сказал — «ласково - вразумительно, будто хотел утешить»:

«Не смущайся, чадо, и не скорби. Милость дает Господь, Светлое Благовестие. Крест Господень — знамение Спасения».

От этих священных слов стало в груди Сухова просторно, — «всякую тягость сняло». И он увидел: светло кругом, сделалось поле красным, и лужи красные, будто кровь. Понял, что от заката это — багровый свет. Спросил старца: «далече идете, батюшка?»

«Вотчину свою проведать».

Не посмел Сухов спросить — куда. Подумал: «что я, доследчик, что ли... непристойно

доспрашивать, скрытно теперь живут». Сказал только:

— «Есть у меня один барин, хороший человек... ему бы вот переслать, он сберег бы, да далеко отъехал. И здешние они, у самого Куликова Поля старое их имение было. В Сергиев Посад отъехал, у Троицы, там, думалось, потише... да навряд».

Старец сказал:

«Мой путь. Отнесу благовестие господину твоему».

Обрадовался Сухов, и опять не удивило его, что старец идет туда, — «будто бы так и надо». Сказал старцу:

— «Сам Господь вас, батюшка, послал... только как вы разыщете, где они на Посаде проживают?.. скрытное ноне время, смутное. Звание их — Егорий Андреич Среднев, а дочку их Олей... Ольгой Егорьевной звать, и образа она пишет... только и знаю».

«Знают на Посаде. Есть там нашего рода».

Радостью осияло Сухова, — «как светом-теплом согрело», — и он сказал:

— «Уж и поклончик от меня, батюшка, им снесите... скажите — кланяется, мол, им Вася Сухов, который лесной объездчик... они меня давно знают. А ночевать-то, батюшка, где пристанете... ночь подходит? позвал бы я вас к себе, да не у себя я теперь живу... время ли-

хое ноне, обидеть могут... и церковь у нас заколотили.

Старец ласково посмотрел на Сухова, — «весело так, с приятностью», и сказал ласково, как родной:

«Спаси тя Христос, чадо. Есть у меня пристанище».

Принял старец от Сухова крест, приложился с благоговением и положил в кузовок, на мягкое.

— «Как хорошо-то, батюшка... Господь дал!...» — радостно сказал Сухов: не хотелось со старцем расстаться, поговорить хотелось: — «Черные у меня думы были, а теперь веселый я поеду. А еще думалось... почтой послать — улицы не знаю... и досправшивать еще станут, насмеются... — да где, скажут, взял... да не церковное ли утаил от них... — заканителят, нехристи».

Сказал старец:

«Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

И помолился на небо.

«Господь с тобой. Поезжай. Скоро увидимся».

И благословил Сухова. Приложился Сухов со слезами к благословившей его деснице. И долго смотрел с коня, пока не укрыли сумерки.

Когда Сухов рассказывал, как старец благословил его,—плакал. Тайный, видимо, смысл придавал он последнему слову старца — «увидимся», — знал, что недолго ему осталось жить? И правда: рассказывал мне в конце апреля, а в сентябре помер, писали мне. Со «встречи» не протекло и года. По тону его рассказа... — словами он этого не обнаружил, — для меня было несомненно, что он верил в посланное ему явление. Скромность и сознание недостоинства своего не позволяли ему свидетельствовать об этом явно.

В этом «первом действии» нет ничего чудесного: намеки только и совпадения, что можно принять по-разному. Сухов не истолковывал, не пытался ощупывать, а принимал, как сущее, «в себе сокрытое», — так прикровенно определил он «священный лик». Вот — простота приятия верующей душой. Во «втором действии», в Сергиевом Посаде, «приятие» происходит по-другому: происходит мучительно, с протестом, как бы с насилием над собой, с ощупыванием, и, в итоге, как у Фомы, с надрывом и восторгом. Это психологически понятно: празднуется победа над злейшим врагом — неверием.

V.

Рассказ Сухова о встрече на Куликовом Поле не оставил во мне чувста, что было ему явление, а просто — «случай», странный по совпадениям, с мистической окраской. Окраску эту приписывал я душевному состоянию рассказчика. Василий Сухов, простой православный человек, душевно-чистый, неколебимо верил, что поруганная правда должна восторжествовать над злом... иначе, для него, не было никакого смысла и строя в жизни: все рушится?!.. Нет, все в нем протестовало, инстинктивно. Он не мог не верить, что правда скажется. Он — подлинная суть народа: «Правда не может рушиться». И так естественно, что «случай» на Куликовом Поле мог ему показаться знамением свыше, знамением спасения, искрой святого света во тьме кромешной. В таком состоянии душевном мог он и приукрасить «явление», и вполне добросовестно. Мне он не говорил, что было ему явление, и сокровенного смысла не раскрывал, а принял благоговейно, детски-доверчиво.

Вернувшись в Тулу, я никому не рассказывал, что слышал от Сухова в «Волове». Впрочем, дочери говорил, и она не отозвалась ни-

как. Но месяца через три, попав в Сергиев Посад, я неожиданно столкнулся с другими участниками «случая», и мне открылось, что тут не «случай», а знамение свыше. И рассказ Сухова наполнился для меня глубоким смыслом. Знамение свыше... — это воспринимается нелегко, так это необычно, особенно здесь, в Европе. Но там, в Сергиевом Посаде, в августовский вечер, в той самой комнате, где произошло явление, вдруг озарило мою душу впервые испытанное чувство священного, и я принял знамение с благоговением. Я видел святой восторг и святые слезы чистой и чуткой девушки... — какая может быть в человеке красота!... — я как бы читал в открытой душе ее. И вот, захваченный необычайным, стараясь быть только беспристрастным, почти молясь, чтобы дано было мне найти правду, я повел свое следствие, и, неожиданно для себя, разрушил последнее сомненье цеплявшегося за «логику» «Фомы»-интеллигента. Не передать, что испытывал я тогда: это вне наших чувств. Что могу ясно выразить, так это одно, совершенно точное: я привлечен к раскрытию необычайного... привлечен Высшей Волей. А что пережил тогда в миг неизмеримый... — выразить я бессилен. Как передать душевное состояние, когда коснулось сознания моего, что времени

н е с т а л о... века сомкнулись... будущего не будет, а в с е — н ы н е, — и это меня не удивляет, это в меня вместилось?!.. Я принял это, как самую живую сущность. Жалок земной язык. Можно приблизительно находить слова для выражения э т о г о, но опалившего душу озарения... — передать это невозможно.

VI.

Жизнь в Туле, призрачная, под чужим именем «мещанина Подбойкина», под непрестанным страхом, что сейчас и разоблачат, и... — стала невмоготу. Что за мной числилось? Вопрос праздный. Ровно ничего не числилось, кроме выполнения долга — раскрывать преступления. Но для агентов власти я был лишь «кровопийца». Могли мне вменить многое: приезд Плеве, по делу убийства губернатора... раскрытие виновников злостной железнодорожной катастрофы, когда погибло много народу, а намеченная добыча, важный правительственный чин, счастливо избег кары... Я делал свое дело. Но вот какая странная вещь... Не могу понять, почему я, следователь-психолог, раскрывавший сложнейшее, в течение восьми лет укрывался в Туле, где меня легко могли опознать приезжие из Бого-

явленска! Возможно, тут работала моя «психология»: здесь-то меня искать не станут, в районе моих «злодейств», и не откроют, если не укажут обыватели. Непонятное оцепенение, сознание безысходности, будто пробка в мозгу застряла. Боялся смерти? Нет, худшего: страх за дочь, издевательства... и, что иным покажется непонятным, — полного беззакония страшился, вопиющего искажения судебной правды, чего не переносил почти физически. Это, своего рода, «порок профессиональный», ми-стическое нечто. Словом, оцепенение и «пробка». Самое, кажется, простое — ехать в Москву, острая полоса прошла, в юристах была нужда. Устроили бы куда-нибудь друзья-коллеги, уцелевшие от иродова меча, мог бы найти нейтральное что-нибудь, предложил бы полезный курс — «психология и приемы следствия», надо же молодежь учить. Почему-то все эти планы отбрасывал, сидела «пробка». И вот, оказалось, что мое сиденье в Туле было «логично», только не нашей логикой.

Учил грамоте оружейников, помогал чертежникам завода, торговал на базаре картузами, клеил гармоньи. Дочь давала уроки музыки новой знати. Тула издавна музыкальный город: славен гармоньями на всю Россию, как и самоварами. Не этим ли объяснить, что на-

чалась, прямо, эпидемия — «на вертипьяных»! Все желают «выигрывать на вертипьяных разные польки и романцы». И выпало нам «счастье»: навязалась моей Надюше... «Клеопатра». И по паспорту — Клеопатра, а разумею в кавычках, потому что сожительствовала она с «Антошкой». Так и говорили — «Антошка и Клеопатра». А «Антошка» этот был не кто иной, как важная птица Особ - Отдела, своего рода мой коллега... Бывший фельдшер. И вот, эта «Клеопатра», красавица-тулячка, мещаночка, очень похожая на кустодиевскую «Купчиху», такая же белотелая и волоокая... глупое и предобрейшее существо, — походя пряники жевала и щелкала орешки, — и навязалась: «ах, выучите меня на верти-пьяных!..» Мучилась с ней Надюша больше года. Инструмент у девицы был — чудесный беккеровский рояль, концертный. А Надюша окончила консерваторию на виртуозку, готовилась к карьере пианистки. И вот — «на верти-пьяных». Забылась как-то, с Шопэном замечталась... — и вдруг, ревом по голове: «лихо наяриваете, ба-рышня!» «Антошка», во всей красе, с ноганом. А «Клеопатра», в слезах восторга: «выучите, ради Господа, и меня такому!» Всетаки польку одолела, могла стучать, и была в бешеном восторге. Посылала кульки с провизией, «папашке ва-

шему табачку», то-се... С отвращением, со стыдом, но принимали, чтобы отдать другим... — не проходило в глотку. А нужды кругом..! Урочные деньги Надюша не могла брать в руки, надевала перчатки. Лучше уж картузами, гармошками... Тошно, гнусно, безвыходно... — и при моем-то «ясновидении». В глазах народа, я был «гадателем», так и говорили: «нашего следователя не обведешь, скрозь землю на три аршина видит!» И такое бессилие: засела «пробка». И в «Волово»-то смотался не от нужды, а как-нибудь сбросить это оцепенение, вышибить эту «пробку». И мукомол советовал: «ныряйте, Сергей Николаич, в Москву, — большая вода укроет». Но «пробка» сидела и сидела. Или — так нужно было? чего-то нехватало..? И вот это что-то и стукнуло. Теперь вижу, что так, именно, и нужно было.

Вскоре после поездки моей в «Волово», в начале мая, приходит моя Надюша, пополобелая, остановилась у косяка... и такими страшными, неподвижными глазами, глазами, ужаса и конца, смотрит в меня и шепчет: «папа... конец...» Это — конец — прошло мне холодом по ногам. Да, конец: пришло то, о чем мы с ней знали молчаливо, «если оно случится». И оно случилось: «все известно». Но самое страшное не это, не мытарства,

если бы не удалось нам уйти: самое страшное — позор.

В то утро мая «Клеопатра» разнежилась с чего-то и захотела обрадовать Надюшу: «а что вы думаете, мой-то все-о про вашего папаньку знает, как утрудящих засуживал... но вы не бойтесь, и папанька чтобы не боялся... мой для меня все сделает, так и сказал: «я его на высокую должность возьму, как раз по нем, засуживать... в помощники при себе возьму, в заседатели, а то все негодящие, дела спят...» — и жалованье положит, и еще будет натекать, будете жить как люди». Это уж после Надюша мне передала, а, тогда только—«все известно». И тут — вышибло мою «пробку»... в Москву!.. сейчас же в Москву!.. Это при «все известно»-то!.. при зверском контроле на вокзале!.. как новичок-воришка... вся «логика», весь мой следовательский о-пыт испарились.

Сказал Надюше самое необходимое собрать, шепчу — «есть выход... Москва — выход!..» Помню, смотрела с ужасом. А я кинулся на вокзал, — поезд когда отходит. Бегу, не соображая, что обращу внимание... — одно в уме, взываю — «Господи, помоги...» И уже вижу какую-то возможность: в Москве Творожников, кто-то говорил, в гору у них пошел. А он был когда-то ко мне прикомандиро-

ван, кандидат на судебные должности, очень талантливый, ловкий, «без предрассудков», после товарищем прокурора был. Расстались мы друзьями. Только бы разыскать его.

Вбегаю в вокзал, задохся, спрашиваю про поезд, а мне кто-то шипит грозяще: «ка-ак вы здесь?.. вон!... комиссия отъезжает, Рабкрин!» Рабоче-крестьянская инспе-кция! гром и огонь!.. все может!.. -- страх и трепет. Метнулся в боковой зал, а там... «губернатор» наш, тянется, и вышние из Особ-Отдела, с наганами... кошмар!.. И вдруг: «Сергей Николаич... вы как здесь?» Он!.. Творожников, о ком только что в голову вскочило. Там такое бывало, многие подтвердят. Теперь, что-то мне в этом видится. Но уточнять не буду, примите за «случайность».

Произошло все головокружительно. Творожников подошел ко мне, сухо спросил — «устроены?» Я ему — только: «в Москву... необходимо». Молниеносно понял, вынул бланчок и тут же, на портфеле, — «явиться немедленно, в распоряжение...» — отмычка ко всем замкам. Шел я домой, как пьяный, дышал, после стольких годов удушья. Словом — счастливый случай».

VII.

В Москве я устроился нейтрально — по архивам: разыскивал и приводил в порядок судебно-исторические дела, в уездной секции. Побывал в Клину, Серпухове, Звенигороде... и, в середине августа, выехал в Загорск, переименовали так Сергиев Посад. О барине Средневе не думал, случай на Куликовом Поле выпал из памяти, а хотелось увидеть Лавру, толкнуло «к Троице». Что, собственно, толкнуло?.. Работавшие по архивам часто говорили о «Троице»: там ютилось много известных бывших людей»; В. Розанов, А. Александров, Л. Тихомиров, работали в относительной тиши художники, наведывался Нестеров, решал перелом жизненного пути С. Булгаков, в беседах с Павлом Флоренским... Нестеров написал с них любопытную картину: дал их «в низине», а по гребешку «троицкой» мягкой горки в елках изобразил символически «поднявшихся горе»... — русских богомольцев, молитвенно взирающих на куполки «Святого Града»—Троицы-Сергия... Когда в с е было — не собрался, а тут — погляди остатки. И я поглядел эти остатки. И увидал — н е т л е н н о е. Но в каком обрамлении! в каком надрывающем разломе!.. Не повидал при с в е т е, — теперь посмотри во тьме.

Приехал я в Загорск утром. Уже не «Сергиево», а Загорск. И первое, что увидел, тут же, на станционной платформе, — ломается дурак-парнишка, в кумачёвой ризе, с мочальной бородищей, в митре из золотой бумаги... коренником: с монашком и монашкой, разнузданными подростками. У монашка «горшок» в бечевках, — «кадило»; у монашки ряска располосована, все видать, затылок бритый, в руке бутылка с водкой — «святой водой». И эта троица вопит-визжит: «товарищи!.. все в клуб безбожников, к обедне!.. в семнадцать вечера доклад товарища Зме-я из Москвы!.. — «обман-леторгия у попов-монахов»!.. показание бывшего монаха-послушника!..» И не смотрят на дураков, привыкли.

Иду к Посаду. Дорога вдоль овражка, — и вот, лезет из лопухов-крапивы кудлатая голова и рычит: «обратите антелегентовое внимание, товарищ!.. без призвания прозябаю... бывшему монаху-канонарху!..» Отмахнул портфелем, а он горечью на меня, рычит: «антелегентовы пле-велы!.. из-за вас вот и прем в безбожники!..»

И тут увидал я солнечно-розовую Лавру.

Она с в е т и л а с ь, веяло от нее покоем. Остановился, присел на столбушке у дороги, смотрел и думал... Сколько пережила она за свои пять веков! сколько светила русским лю-

дям!.. Она светилась... — и, знаете, что почувствовал я тогда, в тихом, что-то мне говорившем, ее сиянии?.. — «Ско-лько еще увидит жизни!..» Поруганная, плененная, светилась она — нетленная. Было во мне такое... чувство ли, дума ли... — «все, что творится, — дурманный сон, призрак, ненастоящее... а вот это — живая сущность, творческая народная идея, завет веков... это — вне времени, нетленное... можно разрушить эти сияющие стены, испепелить, взорвать, и ее это не коснется...» Высокая розовая колокольня, «свеча пасхальная», с золотой чашей, крестом увенчанной... синие и золотые купола... — не грустью отозвалось во мне, а светило. Впервые тогда, за все мутные и давящие восемь лет, почувствовал я веру, что — есть защита, необоримая. Без веры, никакой, инстинктом, что ли, почувствовал, в чем — опора. Помню, подумал тут же: «вот почему и ютились здесь, искали душе — покоя, защиты и опоры».

VIII.

У меня был ордер на комнату в бывшей монастырской гостинице, у Лавры. И вот, выйдя на лаврскую площадь, вижу: ворота Лавры

затворены, сидит красноармеец в своем шлыке, проходят в дверцу в железных вратах военные, и так, — с портфелями. Там теперь, говорят, казармы и «антирелигиозный музей». Неподалеку от святых ворот толпится кучка, мужики с кнутьями, проходят горожане-посадские. И, вдруг, слышу, за кучкой, мучительно-надрывный выкрик:

— «Абсурд!... аб-сурд!!...»

Потом — невнятное бормотанье, в котором различаю что-то латинское, напомнившее мне из грамматики Шульца и Ходобая уложенные в стишок предлоги: «антэ-апуд-ад-адверзус...» и снова, с болью, с недоумением, —

— «Абсурд!.. аб-сурд!!...»

Проталкиваюсь в кучке, спрашиваю какого-то в картузе, что это. Он косится на мой портфель и говорит уклончиво:

— «Так-с... выпустили недавно, а он опять на свое место, к Лавре. Да он невредный».

Вскочил в кучку растерзанный парнишка, мерзкий, в одной штанине, скачет передо мной, за сопливую ноздрю рак зацеплен, и на ушах по раку, болтаются вприпрыжку, и он источно гнусит:

— «Товарищ - комиссар, купите... — раков!..» — гадости говорит и передразнивает кого-то — «абсурд!.. аб-сурд!!...» — прямо, бедлам какой-то.

И тут, монастырские башенные часы — четыре покойных перезвона, ровными переливами, — будто у них свое, — и гулко-вдумчиво стали отбивать —отбили — 10. И снова — «абсурд!.. аб-сурд!!..»

Я подошел взглянуть.

На сухом навозе сидит человек... в хорьковой шубе, босой, гороховые штанишки, лысый, черно-коричневый с загара, запекшийся; отличный череп — отполированный до блеска старой слоновой кости; лицо аскета, мучительно-напряженное, с приятными, тонкими чертами русского интеллигента-ученого; остренькая, торчком, бородка, и... золотое пенснэ, без стекол; шуба на нем без воротника, вся в клочьях, и мех, и верх. Сидит лицом к Лавре, разводит перед собой руками, вскидывает плечами, и с болью, с мучительнейшим надрывом, из последней, кажется, глубины, выбрасывает вскриком: «абсурд!.. аб-сурд!!..» Я различаю в бормотаньи, будто он с кем-то спорит, внутри себя:

— «Это же абсолют-но... импоссибиле!.. абсолю-тно!.. абсолют-но!!.. это же... контрадикцио!.. «антэ-апуд-ад-адверзус...» абсолю-тно!.. абсурд!.. аб-сурд!..»

Бородатые мужики, с кнутьями, — видимо, приехавшие на базар крестьяне, — глядят на

него угрюмо, вдумчиво, ждут чего-то. Слышу сторожкий шепот:

— «Вон чего говорит, «ад отверзу»!.. «обсо-лю»! — чего говорит-то».

—«Стало-ть уж ему известно... — Какого-то «Абсурду» призывает... святого может».

— «Давно сидит и сидит — не сходит с своего места... ждет... Ему и открывается, такому...»

Спрашивают посадского по виду, кто этот человек. Говорит осмотрительно:

— «Так, в неопрятном положении, гражданин. С Вифанской вакадемии, ученый примандацент, в мыслях запутался, юродный вроде... Да он невредный, красноамрейцы и отгонять перестали, и народ жалеет, ничего... хлебца подают. А, конешно, которые и антересуются, по темноте своей, деревенские... не скажет ли подходящего чего, вот и стоят над ним, дожидают... которые конешно без пропаганды-образования».

Вот как встретил меня Сергиев Посад.

IX.

Побывал в горсовете, осмотрелся. Лавру осматривать не пошел, не мог. Успею побывать в подкомиссии архивной. Потя-

нуло в «заводь», в тихие улочки Посада. Тут было все по-прежнему. Бродил по безлюдным улочкам, в травке-шелковке, с домиками на пустырях, с пустынными садами без заборов. Я — человек уездный, люблю затишье. Выглянет в оконце чья-нибудь голова, поглядит испытующе - тревожно, проводит унылым взглядом. Покажется колокольня Лавры за садами. Увидал в садике цветы, — приятные георгины, астры, петунии... кто-то, под бузиной, в лонгшезе, в чесучевом пиджаке, читает толстую книгу, горячим вареньем пахнет, малиновым... Подумалось: «а хорошо здесь, тихо... читают книги... живут...» Вспомнилось, что многие известные люди искали здесь уюта... художники стреляли галок, для пропитания, писали свои картины Виноградов, Нестеров... приехал из нашей Тулы барин Среднев... — «там потише», вспомнилось словечко Сухова... — рассказ его тут-то и выплыл из забвенья.

В грусти бесцельного блужданья нашел отраду, — не поискать ли Среднева. Я его знал, встречались в земстве. Про Сухова расскажу, узнаю — донес ли ему старец крест с Куликова Поля. У кого бы спросить..? И вижу: сидит у ворот на лавочке почтенный человек в золотых очках, в чесуче, борода, как у патриарха, читает, в тетрадке помечает, и на лавочке

стопа книг. Извиняюсь, спрашиваю: не знает ли, где тут господин Среднев, Георгий Андреевич, из Тулы, приехал в 17 году. Любезно отвечает, без недоверия:

— «Как же, отлично знаю Георгия Андреевича... благополучно переживает... книгами одолжаемся взаимно».

Знакомимся: «бывший следователь...» «бывший профессор Академии...» Среднев проживает через два квартала, голубой домик, покойного профессора..., друга Василия Осиповича Ключевского.

— «Рыбку вместе ловили в Вифанских прудах, и я иногда с ними. С какой же радостью детской линька, бывало, вываживал на сачок Василий Осипович, словно исторический фрагмент откапывал!.. Какие беседы были, споры...—все кануло. В Лавре были?.. Понимаю, понимаю... трудно. «Абсурд»?.. Наш бедняга Сергей Иваныч, приват-доцент... любимый ученик Василия Осиповича... не выдержал напора... «абсурд» помрачил его. Это теперь наш Иов на гноище. Библейский вел тяжбу с Богом, о себе, а наш «Иов» мучается за всех и за вся. Не может принять, как абсурд, что «ворота Лавры затворились и лампады... погасли».

Старый профессор говорил много и горячо. В окно выглянуло встревоженное ласковое

лицо сребровoлосой старушки в наколочке. Я почтительно поклонился.

— «Василий Степаныч, не волнуйся так... тебе же вредно, дружок...» — сказала она ласково-тревожно и спряталась.

— «Да-да, голубка...» — ласково отозвался профессор и продолжал, потише: — «О нашем страшном теперь говорят, как об «апокалипсическом». Вчитываются в «Откровение». Не так это. Как раз я продолжаю работу, сличаю тексты с подлинника, с греческого. Сегодня как раз читаю... — указал он карандашом, — 10 гл. ст. 6: «И клялся Живущим... что времени уже не будет...» — и дальше, про «горькую книгу». Не то, далеко еще до сего, если принимать богодухновенность «Откровения». Времена, конечно, «апокалипсические», условно говоря...»

Мы говорим, говорим... — вернее, говорит он, я слушаю. Говорит о «нравственном запасе, завещанном нам великими строителями нашего нравственного порядка...» — ссылается на Ключевского.

— «Обновляем ли запас этот? Кто скажет — «нет»! — ? Страданиями накоплялся, страданиями обновляется. Ключевский отметил смысл испытаний. Каков же духовный потенциал наш?.. История вскрыла его и утвердила.

И Ключевский блестяще сказал об исключительном свойстве русского народа — выпрямляться чудесно - быстро. Иссяк ли «запас»? Нисколько. Потенциал огромный. Здесь, лишь за день до нашего «абсурда», в народной толпе у раки Угодника, было сему свидетельство наглядное. Бедняга Сергей Иваныч спутал «залоги», выражаясь этимологически-глагольной формой. Сейчас объясняюсь...»

Снова, милая старушка тревожно его остановила.:

— «Василий Степаныч, дружок... тебе же волноваться вредно, опять затеснит в груди..!»

— «Да-да, голубка... не буду...» — покорно отозвался профессор. — «Видите, какая забота, ласковость, теплота... и это со-рок пять лет, с первого дня нашей жизни, неизменно. Этого много и в народе: душевно-духовного богатства, вошедшего в плоть и кровь. «Окаянство», — разве может оно — пусть век продлится!» — вскрикнул Василий Степаныч, в пафосе, — «истлить все клетки души и тела нашего!.. — клеточки, веками впитавшие в себя Божие?!.. Вот это — аб-сурд!.. Призрачности, видимости-однодневке... не верьте! не ставьте над духом, над православным духом — крест!.. аб-сурд! — повторяю я..!»

— «Да Васи-лий Степаныч..!» — уже строго и не показываясь, подала тревогу старушка.

— «Да-да, голубка... я не буду», — жалея, отозвался профессор. — «Сергей Иваныч... — продолжал он, понизив голос, — увидел себя ограбленным, обманутым, во всем: в вере, в науке, в народе, в... п р а в д е. Он боготворил учителя, верил его прогнозу. И прав. Но...! он сме-шал «залоги». Помните, у Ключевского..? в его слове о Преподобном? Ну, я напомню. Но предварительно заявлю: — православный народ сердцем з н а е т: Преподобный — з д е с ь, с ним... со всем народом, х о д и т п о н а р о д у, с о к р ы т ы й, — говорят здесь и крепко верят. Раз такая вера, «запас» не изжит. Все лишь испытание крепости «запаса», сейчас творится выработка «анти-токсина». И не усматривайте в слове Ключевского горестного пророчества, ныне яко бы исполнившегося, как потрясенно принял Сергей Иваныч. «Залоги»?.. Да, спутал Сергей Иваныч, как многие. Все видимости «окаянства», всюду в России... — а Лавра — центр и символ! — «залог страдательный», а у Ключевского сказано в ином залоге».

Я не понял.

— «Да это же так просто!..» — воскликнул Василий Степаныч, косясь к окошку: — «Ключевский — и весь народ, если поймет его речь,

признает, — заключает свое «слово»: «Ворота Лавры Преподобного Сергия затворятся и лампады погаснут над его гробницей — только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его». Дерзнете ли сказать, что «растратили без остатка»? Нет? Бесспорно, ясно!... Мы все в страдании! Ныне же видим: ворота затворены, и лампады — погашены!.. — выражено в страда-тельном залоге! страдание тут, насилие!.. и народ в этом неповинен. Свой «запас нравственный» он несет, и, в страдании, пронесет его и — сполна донесет до той поры, когда ворота Лавры растворятся, и лампады — затеплятся... — залог дей-стви-тельный!.. Не так ли?..»

Я не успел ответить, как милый голос из комнаты взволнованно подтвердил: «святая правда!.. но не волнуйся же так, дружок».

Василий Степаныч обмахивался платком, лицо его пылало. Сказал устало:

— «Душно в комнатах... в саду тоже, и я выхожу сюда, тут вольней».

Часы-кукушка прокуковали 6. Я поблагодарил профессора за любопытную беседу, за удовольствие знакомства и думал—«да, здесь еще живут». Профессор сказал, что сейчас я застану Среднева, он с дочкой, конечно, уже пришли из ихнего «кустыгра».

— «Все еще не привыкли к словолитию? Георгий Андреич работает в отделе кустарей-игрушечников, бухгалтером, а Оля рисует для резчиков. Усиленно сколачивают... это, конечно, между нами... на дальний путь. Поэт сказал верно:

«Как ни тепло чужое море,
«Как ни красна чужая даль, —
«Не им размыкать наше горе,
«Развеять русскую печаль.

— «Теперь не сказал бы...» — заметил я, — «тогда все же была свобода».

— «Не все же, а была!..» — поправил меня профессор. — «Гоголь мог ставить «Ревизора» на императорской сцене, и царь рукоплескал ему. Что уж говорить... Другой поэт, повыше, сказал лучше: «Камо пойду от Духа Твоего? и от Лица Твоего камо бежу?..» Так вот, через два квартала, направо, увидите приятный голубой домик, на воротах еще осталось — «Свободен от постоя», и — «Дом Действительного Статского Советника Профессора Арсения Вонифатиевича...» Смеялся, бывало, Василий Осипович, называл провидчески — «живописная эпитафия»... и добавлял: «Жития его было...»

Шел я, приятно возбужденный, освежен

ный, — давно не испытывал такого. И колокольня Лавры светила мне.

X.

Домик «Действительного Стаского Советника» оказался обыкновенным посадским домиком, в четыре окна со ставнями, с прорезанными в них «сердечками»; но развесистая береза и высокая ель придавали ему приятность. Затишье тут было полное, вряд ли тут кто и ездил: на немощеной дороге, в буйной нетронутости, росли лопухи с крапивой. Я постучал в калитку. Отозвалась блеяньем коза. Прошелся, поглядел на запущенный малинник, рядом, за развороченным забором: паслась коза на приколе. Подумал — ждать ли, и услыхал приближавшиеся шаги и разговор. Как раз, хозяева: сегодня запоздали, получали к кооперативе давно жданного сушеного судачка.

Узнали мы друг друга сразу, хоть я и поседел, а Среднев подсох и пооблысел, и, в парусинной толстовке, размашистый, смахивал на матерого партийца. Олечка его мало изменилась, — такая же нежная, вспыхивающая румянцем, чистенькая, светловолосая, с тем же здоровым цветом лица и милым ртом, осо-

бенно чем-то привлекательным... — наивно-детским. Только серые, такие всегда живые, радостные глаза ее теперь поуглубились и призадумались.

Разговор наш легко наладился. Средневу посчастливилось: приехав в Посад, он поместился у родственника-профессора; профессор года два тому помер, и его внук, партиец, получивший службу в Ташкенте, передал им дом на попечение. Потому все и уцелело, и ржавая вывеска — «Свободен от постоя» — оказалась как раз по времени. Все в доме осталось по-прежнему: иконы, портреты духовных лиц, троицкие лубки, библиотека, кабинет с рукописями и свитками, пыльные пачки «Нового Времени» и «Московских Ведомостей», удочки в углу и портрет Ключевского на столе, с дружеской надписью: «рыбак рыбака видит издалека». На меня повеяло спокойствием уклада исчезнувшего мира, и я сказал со вздохом:

— «Все — в прошлом»!.. Картина, в «Третьяковке»; запущенная усадьба, дом в колоннах, старая барыня в креслах, и ключница, на порожке... Так и мы, «на порожке...».

Олечка отозвалась из другой комнаты:

— «Нет: все с нами, есть».

Сказала спокойно - утверждающе. Среднев подмигнул и стал говорить, понизив голос:

— «Прошлого для нее не существует, а все вечно, и все — живое. Теперь это ее вера. Впрочем, можно найти и в философии...

В философии я профан, помню из Гераклита, что — «все течет...», да Сократ, что ли, изрек — «я знаю, что ничего не знаю». Но Среднев любил пофилософствовать.

— «У ней это через призму религиозного восприятия. Весь наш «абсурд», вызывавший в ней бурную реакцию, теперь нисколько ее не подавляет, он вне ее. Вот, видели нашего «Иова на гноище»... его смололо, все точки опоры растерял и из своей тьмы вопиет «о всех и за вся», как говорится...»

— «Не кощунствуй, папа!» — крикнула Олечка с укором, — ты же отлично знаешь, что это — не «как говорится», а...! Бедный Сергей Иваныч как бы Христа ради юродивый теперь, через него правда вопиет к Богу, и народ понимает это и принимает по-своему».

Среднев опять усмешливо подмигнул. Мне эти его жесты не нравились. Но он, видимо, намолчался и рад был разрядиться:

— «Да, мужички по-своему понимают... и, знаете, очень остроумно выуживают из его темных словес — свое. Сергей Иваныч путается в своих потемках, шепчет или выкрикивает «на-ша традиция... на-ши традиции...»

— а мужики свое слышат: «н а ш е о т р о д и т с я»! Недурно?»...

— «И они се-рдцем правы!...» — отозвалась Олечка: — «они правдой своей живут, слушают внутреннее в себе, и им о т к р ы в а е т с я».

Я дополнил, рассказав, как из «ад-адверзус» они вывели «ад отверзу», а из «абсолютно» — «обсолю». Среднев расхохотался.

—«Чего тут смешного, папа!.. Верят, что «а д отворится», и все освободятся... и будет не гниение и грязь, а чистая и крепкая жизнь, — «обсолится»!... Только нужно истинную «соль», а не ту, которая величала себя — «солью земли».

Среднев поднял руки и помахал с ужимками.

Осматривая кабинет покойного профессора, я заметил медный восьмиконечный крест, старинный, вспомнил Сухова и спросил, не этот ли крест прислал им Вася с Куликова Поля.

— «А вы откуда знаете?...»—удивился Среднев.

Я объяснил. Он позвал Олечку.

— «Для нее э т о чрезвычайно важно... она все собиралась сама поехать. Знаете, она верит, что нам я в и л с я... Нет, лучше уж пусть сама вам скажет. Нет, это профессорский, а

тот она укрыла в надежном месте, далеко отсюда. Тот был меньше, и не рельефный, а изображение Распятия вытравлено, довольно тонко... несомненная старина. Возможно, что «боевой», от Куликовской битвы. В лупу видно, как посечено острым чем-то... саблей?.. Где посечено — зелень, а все остальное — ясное».

— «Ка-ак?!... ни черноты, ни окиси?...» — удивился я...

— «Только где посечено... а то совершенно ясное».

Вошла Олечка, взволнованная: видимо, слышала разговор.

— «Скажите...» — сказал она прерывисто, с одышки, — «все, что знаете... Я три раза писала Васе, ответа нет. Хочу поехать - узнать все, как было. Для папы в этом ничего нет, он только анализирует, старается уйти от очевидности... и не видит, как все его умствования ползут... А сами вы... верующий?»

Я ответил, что — маловер, как все, тронутые «познанием».

— «Маленьким земным знанием, а не «познанием...» — поправила она с жалеющей улыбкой.

— «Да-а, «чердачок» превалирует!...» — усмехнулся Среднев, тыча себя в лоб, не без удовольствия.

— «Скажите, что же говорил наш Вася... Сухов... как он говорил? он не может лгать, он сердцем...»

Я постарался передать рассказ Сухова точно, насколько мог. Олечка слушала взволнованно, перетягивая на себе вязаный платок. Глаза ее были полузакрыты, в ресницах чувствовались слезы. Когда я кончил, она переспросила, в сильном волнении:

— «Так и сказал — «священный лик»?.. «как на иконах пишется... в себе сокрытый...»?!... Слышишь, папа?.. а я... что я сказала, тогда?!..»

Среднев пожал плечами.

— «Что тут доказывает!...» — сказал он снисходительно - усмешливо. — «Почему не объяснять не-чудесным... тожеством восприятий...? Бывают лица, особенно у старцев... скажу даже — лики... о-чень иконописные!... Не «небесной же моделью» пользуются иконописцы, когда изображают лики?... Тот же гениальный Рублев — свою «Троицу»?!..»

Слышалось ясно, что Среднев говорит наигранно, и не так уже равнодушен к «случаю», как старается показать: в его голосе было раздражение. Да и рассказ мой о «встрече» на Куликовом Поле слушал он очень вдумчиво.

Заинтересованный происшедшим здесь, — тут, может быть, сказалась и привычка к

точности и проверке,—я попросил обоих рассказать мне, *как* они получили крест. Почему так меня это захватило, — не могу и себе точно объяснить. Помню, — я просил их — «по возможности точней, все, что припомните... иногда и мелкая подробность вскрывает многое». Будто я веду следствие... ну, может быть, машинально вышло, по привычке.

И вот, что рассказала Оля, причем Среднев вносил поправки и пояснения, в своем стиле.

XI.

Случилось *это* в конце прошлого октября, или — по новому стилю — в первых числах ноября.

Оба помнили, что весь день лил холодный дождь, — «с крупой», — как и на Куликовом Поле! — но к вечеру прояснело и захолодало. Тот день оба хорошо помнили: как раз праздновалась 8-ая годовщина «Октября», день был «насыщенный». Загодя объявлялось плакатами и громкоговорителем наступление великой даты: «всем, всем, всем!!!» Совсюду било в глаза настоятельное предложение «показать высший уровень революционного сознания, достойный Великого Октября», всем решительно принять активное участие — в массо-

вой манифестации, с плакатами и знаменами, с оркестром и хором, по всему городу, и присутствовать массово на юбилейном собрании в «Доме Октября», где произнесут речи товарищи-ораторы из Москвы. Ради торжества и для подогрева, была объявлена выдача — в самый день празднования, — всем совработникам, особого, сверх нормы, «гостинца»: пшенной крупы и подсолнечного масла. Горсовет оповещал, что выдача будет производиться из горкоопрата, с 7 до 8: «просят не опаздывать, празднование откроется массовой манифестацией, в 9 - 30».

Они получили юбилейную выдачу. Оля на манифестации не была, — «была в церкви», — но Среднев ходил с толпой по Посаду, — «часа два грязь месили под ледяным дождем». Уклониться никак нельзя, — бухгалтер! — заметили бы: «здесь всех знают». В 4 часа оба присутствовали на собрании и слушали ораторов из Москвы.

Вернулись домой, усталые, часов около семи. Закрыли ставни и подперли колом калитку, как обычно, хотя проникнуть во двор было нетрудно, с соседнего пустыря, — «как и выйти со двора», поправил Среднев: «забор на пустырь полуразвален». Оля поставила варить пшенную похлебку. Слышали оба, как в Лавре пробило — 7.

Среднев читал газету. Оля прилегла на диване, жевала корочку. Вдруг — кто-то постучал в ставню, палочкой, — «три раза, раздельно, точно с в о й». Они тревожно переглянулись, как бы спрашивая себя — «кто это?» К ним заходили редко, больше по праздникам, и всегда днем; т е стучат властно, и в ворота. Оля приоткрыла форточку... — постучали как раз в то самое окошко, где форточка! — и негромко спросила — «кто там?...» Среднев, через «сердечко» в ставнях, ничего не мог разобрать в черной, как уголь, ночи. На оклик Оли кто-то ответил «приятным голосом» — так говорил и Сухов:

«С Куликова Поля».

Обоим им показалось странным, что постучавшийся не спросил, здесь ли такие-то... — знает их! Сердце у Олечки захолонуло, «будто от радости». Она зашептала в комнату: «папа... с Куликова Поля!..» — и тут же крикнула в форточку — Среднев отметил — «радостно-радушно»: «пожалуйста... сейчас отворю калитку!..» — «и стремительно кинулась к воротам, не накрылась даже», — добавил Среднев.

Небо пылало звездами, такой блеск... — «не видала, кажется, никогда такого». Оля отняла кол, открыла, различила высокую фигуру, в монашеской наметке поверх скуфьи, и —

«очевидно, от блеска звезд», — вносил свое объяснение Среднев, — лик пришельца показался ей — «как бы в сиянии».

— «Войдите-войдите, батюшка...» — прошептала она, с поклоном, чувствуя, как ликует сердце, и увидала, что отец вышел на крыльцо с лампочкой — посветить.

Хрустело под ногами, от морозца.

Старец одет был бедно, в сермяжной ряске, и на руке лукошко. Помолился на образа — «Рождество Богородицы» и «Спаса Нерукотворенного», — по преданию, из опочивальни Ивана Грозного, — и, «благословив все», сказал:

«Милость Господня вам, чада».

Они склонились. То, что и он склонился, Среднев объяснял тем, что... — «как-то невольно вышло... от торжественных слов, возможно». Он подвинул кресло, молча, как бы предлагая пришельцу сесть, но старец не садился, а вынул из лукошка небольшой медный крест, «блеснувший», благословил им в с е и сказал, «внятно и наставительно»:

«Радуйтеся Б л а г о в е с т и ю. Раб Божий Василий, лесной дозорщик, знакомец и доброхот, обрел сей Крест Господень на Куликовом Поле и Волею Господа посылает, во знамение Спасения».

— «Он — рассказывала Олечка, — сказал лучше, но я не могла запомнить».

— «Проще и... глубже...», — поправил Среднев, — «и я невольно почувствовал какую-то особенную силу в его словах... затрудняюсь определить... проникновенную, духовную...?»

Они стояли, «как бы в оцепенении». Старец положил Крест на чистом листе бумаги, — Среднев накануне собирался писать письмо и так оставил на письменном столе, — и, показалось, хотел уйти, но Оля стала его просить, сердце в ней все играло:

— «Не уходите... побудьте с нами... поужинайте с нами... у нас пшенная похлебка... ночь на дворе... останьтесь, батюшка!...»

— «Вот, именно, про пшенную похлебку... отлично помню!...» — подтвердил Среднев.

С Олей творилось странное. Она залилась слезами и, простирая руки, умоляла, «настойчиво даже», по замечанию Среднева:

— «Нет, вы останетесь!... мы не можем вас отпустить так... у нас чистая комната, покойного профессора... он был очень верующий, писал о нашей Лавре... с вами нам так легко, светло... столько скорби... мы так несчастны!»

— «Она была, прямо, в исступлении», — заметил Среднев.

— «Не в исступлении... а я была... так у меня

горело сердце, играло в сердце!... я была... вот, именно, б л а ж е н н а !...»

Она даже упала на колени. Старец простер руку над ее склоненной головой, она сразу почувствовала успокоение и встала. Старец сказал, помедля, «как бы вслушиваясь в себя»:

«Волею Господа, пребуду до утра зде».

Дальше... — «все было, как в тумане». Среднев ничего не помнил: говорил ли со старцем, сидел ли старец или стоял... — «было это, как миг... будто пропало время».

В этот «миг» Оля стелила постель в кабинете профессора, на клеенчатом диване: взяла все чистое, новое, что нашлось. Лампадок они не теплили, гарного масла не было; но она вспомнила, что получили сегодня подсолнечное масло, и она налила лампадку. И когда затеплила ее, — «вот эту самую, голубенькую, в молочных глазках... теперь негасимая она..» — озарило ее сияние, и она увидала — Л и к Это был образ Преподобного Сергия. Ее потрясло священным ужасом. До сего дня помнила она сладостное горение сердца и трепетное, от слез, сияние.

В благоговейном и светлом ужасе, тихо вошла она в комнату и, трепетная, склонилась, не смея поднять глаза.

— ««Что было в моем сердце, этого нельзя

высказать...» — рассказывала, в слезах, Оля.— «Я уже не сознавала себя, какой была... будто я стала другой, вне обычного-земного... будя — уже не «я», а... душа моя... нет, это нельзя словами...».

— «Она показалась мне радостно-просветленной, будто сияние от нее!...» — определял свое впечатление Среднев.

А с ним ничего особенного не произошло: «только на душе было как-то необычайно легко, уютно». Он предложил старцу поужинать с ними, напиться чаю, но старец — «как-то особенно тонко уклонился, не приняв и не отказав»:

«Завтра день недельный, повечеру не вкушают».

Среднев тогда не понял, что значит — «день недельный». Оля после ему сказала, что это значит — «день воскресный».

По его пояснениям, Оля тогда «была где-то, не сознавала себя». Она не шевельнулась, когда Среднев сказал ей поставить в комнату гостя стакан воды и свечу: ему хотелось, «чтобы гостю было удобно и уютно». Он отворил оклеенную обоями дверь в кабинет профессора, — «вот эту самую», — и удивился, «как уютно стало при лампадке». Приглашая старца движением руки перейти в комнату, где приготовлена постель, Среднев — это

он помнил — ничего не сказал, «будто так и надо», а лишь почтительно поклонился. Старец — видела Оля через слезы — остановился в дверях, и она услыхала «слово благословения»:

«Завтра отыду рано. Пребудьте с Господом».

И благословил пространно, — «будто благословлял все». И затворился.

Оля неслышно плакала. Среднев недоумевал, что с нею. Она прильнула к нему и, в слезах, шептала: «ах, папа... мне так хорошо, тепло...». И он ответил ей, шепотом, чтобы не нарушить эту «приятную тишину»: «и мне хорошо».

— «Было такое чувство... безмятежного покоя...»—подтверждал Среднев, «что жалко было его утратить, и я говорил шепотом. Это удивительное чувство психологически понятно, оно называется «воздействием родственной души...» в психологии: волнение Оли сообщилось мне... то-есть, ее душевное состояние».

Стараясь не зашуметь, Оля на-цыпочках подошла к столу, перекрестилась на светлый Крест и приложилась. Ей казалось, что Крест сияет. Среднев хотел посмотреть, но Оля, страшась, что он возьмет в руки, умоляюще зашептала: «не тронь, не тронь...». Так Крест

и остался до утра, на белом листе бумаги, нетронуто.

Среднев не спал в ту ночь: всякие думы думались, «о жизни». Чувствовал, что не спит и Оля.

Она лежала и плакала неслышно. Эти слезы были для нее — «радостными и светлыми». Ей «все вдруг осветилось, как в откровении». Ей открылось, что — все — живое, все — есть: «будто пропало время, нестало прошлого, а все — есть!» Для нее стало явным, что покойная мама — с нею, и Шура, мичман, утопленный в море, в Гельсингфорсе, единственный брат у ней, — жив, и — с нею; и все, что было в ее жизни, и все, что она помнила из книг, из прошлого, далекого, — «все родное наше», — есть, и — с нею; и Куликово Поле, откуда явился Крест, — здесь, и —в ней! Не отсвет его в истории, а самая его живая сущность, живая явь. Она страшилась, что сейчас забудет это чудесное чувство, что это «дано на миг»... боялась шевельнуться, испугать мыслями... — но «все становилось ярче... светилось, жило...»

Ночи она не видела. В ставнях рассвет...

Она хотела мне объяснить, как она чувствовала тогда, но не могла объяснить словами. И прочла, напамять, из ап. Павла к Римлянам:

«...и потому, живем ли, или умираем, всегда Господни».

— «Понимаете, все живет! у Господа ничто не умирает, а все — есть! нет утрат, а... всегда, все живет.

Я не понимал.

XII.

И вот, утро. Заскрежетал будильник — 6. Среднев вспомнил — «завтра отыду рано», и осторожно постучал в кабинет профессора... — ? Молчание. Оля сказала громко: «войди — увидишь: он ушел». Но он не мог уйти! Оля сказал, уверенно:

— «Как ты не понимаешь, папа... это же было явление Святого!...»

Среднев не понимал. Он вошел в комнату: постель нетронута, лампадка догорала под нагаром. Оля взяла отца за руку и показала на образ Преподобного:

— «Ты ви-дишь?!.. и — не веришь?!..»

Среднев ничего не видел, не мог поверить: для него это был — абсурд.

Меня этот странный случай затронул двойственно: как следователя — загадочностью, которую надо разъяснить расследованием, и как человека — явлением, близким к чуду, против чего восставало здравое чувство при-

вычной реальности. Оля, видимо, это понимала: она пытливо-тревожно вглядывалась в меня, спрашивая, как-будто: «и вы, как папа...?» Не вера моя в чудо была нужна ей, не укрепление этим ее веры: сама она крепко верила. Ей была нужна нравственная моя поддержка — рассеять сомнения отца. Мне стало жаль ее, и эта жалость заставила меня отнестись к странному случаю особенно чутко и осмотрительно.

И я приступил к расследованию.

Только один был выход из кабинета профессора, — через их комнату. Они не спали и — не видели ухода. Так и подтверждали оба. Дверь из передней в сени Оля не запирала; это облегчало уход бесшумный; но парадная дверь была на щеколде, падавшей в пробой, — это могло, на первый взгляд, поразить: ушел, а дверь оказалась на щеколде! Среднев объяснял: они оба могли на миг забыться, и он тихо прошел в парадное; а то, что за ним дверь оказалась снова запертой, легко объяснить. Случай со щеколдой — не их изобретение, это делают все, когда надо уйти и замкнуть дверь, если дома кто-нибудь остается, а его не хотят будить.

— «Мы всегда это делаем. Когда Оля уходит, а я еще сплю, она ставит щеколду стойком, и...»

Он повел меня в сени и показал:

— «Смотрите... поднятая щеколда держится довольно туго... ставлю ее, чуть наклонно, выхожу, захлопываю сильно дверь... — и щеколда падает в пробой!» — сказал он уже за дверью. — «Какое же объяснение иначе...?!»

Я на это ничего не сказал, но подумал, что тут явная натяжка: «гость», выходит, уж слишком предупредителен, — не хочет беспокоить спящих, оберегает их от воров и... догадывается повторить как раз их уловку, со щеколдой, которая туговато держится!..

Оля упорно повторяла:

— «Это было явление!... Он ушел, для него нет преград».

Из дальнейшего рассказа о том утре...

Среднев открыл парадное. В ночь навалило снегу, но никаких следов не было. И это было объяснимо: следы завалило снегом. Оля показала на крыльцо:

— «Завалило снегом...? Но раз отворялась дверь, она бы загребла снег, а снег лежит совершенно ровно, нетронуто!..»

Среднев и тут объяснял логично: значит, ушел до снега. Полной вероятности, конечно, не было; но, конечно, мог уйти и до снега... мог пройти мимо них неслышно... можно было и заставить упасть щеколду. Кол под-

пирал калитку, как было с вечера, но и тут... можно было пролезть в малинник, — забор развален.

Доводы Среднева были скользки, но нельзя было возразить неопровержимо, что это невозможно: тут не страдала логика. Для Среднева — чудо было гораздо невозможней. Оля смотрела на отца с грустной, жалеющей улыбкой, почти болезненной, но могла защищать свое, единственно, только верой. Среднев веры ее не разбивал, признавал, что сообщенное мной о встрече на Куликовом Поле — «еще больше усиливает впечатление от старца: это, несомненно, достойнейший человек... может быть, болеющий страданиями народа, инок высокой жизни...». Пробовал объяснить и мотив «явления»:

— «Несомненно, это человек тончайшей душевной организации, большой психолог. Эта находка Васи!.. Только вообразите: крест, с Куликова Поля!.. какой же си-мвол!.. Этим крестом можно укрепить падающих духом, влить надежду, что... «ад отверзется»!.. эффект, психологически, совершенно исключительный. Заметьте тожественность его слов Васе и нам!... — «Господь посылает благовестие»! Пять веков назад, с благословения Преподобного Сергия, русский великий князь разгромил Мамая, потряс татар-

щину, тьму... и вот, голос от Куликова Поля: уповайте! — и чудо повторится, падет иго наистрашнейшее, Крест победит его!.. И он принимает на себя миссию, идет к нам, в вотчину Преподобного, откуда вторично и воссияет свет!...

— «Не вы-думал же он Куликова Поля!.. — воскликнула Олечка, — это же бы-ло... и Вася думал о нас, о Троице!... Как все надумано у тебя!...

Среднев чуть смутился, но продолжал свою мысль:

— «Согласен, неясности есть... но...!» — он развел руками, ища решения. — «Я искренно растроган, я преклоняюсь... за идею!.. готов руку поцеловать у этого светлого пришельца... И этот уход таинственный!.. какое тончайшее воздействие!... обвеять тайной... это же почти граничит с чу-дом! Если такое... «явление...» бросить в массы!.. Но кто поверит нам, интеллигентам?... Вы знаете, как народ к нам... Оля поведала лишь очень немногим, самым верным... нашего же поля, но этого недостаточно. Надо на площадях кричать, надо объявить Крест!.. И она хотела принять этот крест, бесстрашно!.. Я умолил ее не делать этого: это повело бы лишь к великим бедствиям...»

Эти последние слова, о «принятии креста»,

Среднев мне высказал наедине: «следствие» мое продолжалось не один день.

На доводы отца об «идее пришельца» Оля воскликнула:

— «Но это ты сам выдумал «идею» и приписываешь ее... кому?!.. И принимаешь это за доказательство! где же твоя излюбленная «логика»?!... Эта «идея» — обычный революционный прием!... как это мелко... в связи со всем!.. Ты путаешься в противоречиях, бедный папа!..»

Нет, чуда Среднев принять не мог. Я... почти верил. Я помню смуту во мне... и необъяснимую мне самому уверенность, что я — близ чуда. Но я хотел — ощупать. Опытом следователя я чувствовал, — по тону голоса, по глазам чистой девушки, по растерянности и шатким доводам Среднева, по всему матерьялу «дела», — что тут необъяснимое.

— «И вы не верите... — с жалеющей улыбкой, болезненной, говорила Оля.

Я сказал, что искренно хочу верить, что «не могу не верить, смотря на вас», что никогда за всю мою службу следователем я не испытывал такого явного участия в жизни «благой силы», что все слова и действия «старца» так поражают неземной красотой и... простотой, таким благоговением, что я испытываю

чувство священного, — испытываю впервые в моей жизни. Говоря так, не утешить хотел я эту чистую девушку, а искренно слышал в себе голос: «да, тут — чудо». Но не высказывал этого категорично: мне, — это я тоже чувствовал, — чего-то нехватало. Теперь я вспоминаю ясно, что моей почти-вере помогла эта девушка: своим порывом веры, светом в ее глазах, святой чистотою в них она заставляла верить. Помню, думал тогда, любуясь ею: «какая она несовременная: извечное что-то в ней, за-земное... такие были христианские мученицы-девы».

Наши обмены мнений продолжались дня три-четыре, нами овладевало, помню, и раздражение, и томление неразрешимости. Среднев заметно волновался. Я был во власти как бы навязчивой идеи, в таком нервном подъеме-возбуждении, что потерял сон. С утра тянуло меня в голубой домик, казавшийся мне теперь таинственным. Не раз я молитвенно взывал о... чуде. Да, я страстно хотел чуда, я ждал его. В моем подсознании, уже само творилось оно, чудо! Тогда я не сознавал этого: творилось оно неощутимо.

— «Ну, хорошо... допустим: было явление, оттуда. Допустим, гипотети-чески...» — будто сдавался Среднев.. — «Но...! не могу я понять, почему — у нас?!.. Я, конечно,

не голый атеист, не нигилист... этот путь ныне уже пройден интеллигенцией, особенно после книги Джемса — «Многообразие религиозного опыта», меня чуть ли не оглушившей. Я уважаю людей веры... я лишь скептик, я... ну, я не знаю, кто я...! Но, почему я, я — !... удосто-ен такого... «высокого внимания»?!..»

— «Но почему непременно вы упираете, что это вы, вы удостоены... «высокого внимания?!..» — невольно вырвалось у меня, и я посмотрел на Олю. — Почему не допустить, что вы тут... только посредник?.. для чего-то... более важного?..»

Среднев заметил мой взгляд и совсем смутился.

— «Вы правы...» — сказал он упавшим голосом, — «я неудачно выразился. Я не обольщаюсь, что я... нет, говорю совершенно откровенно, смиренно: я недостоин, я...» — он не мог найти слова и развел руками.

— «Па-па, не укрывайся же за слова!..» — болью и нежностью вырвалось у Оли. — «Ищет твоя душа, Бо-га ищет!... но ты боишься, что вдруг все твое и рухнет, чем ты жил!... Ну, а все, чем ты жил... разве уже не рухнуло?!.. что у тебя осталось?.. все твои «идеалы» рухнули!.. чем же жить-то теперь тебе?!.. Не может рушиться только вечное! А ты не

бойся, ты не...» — она не могла больше, заплакала.

Этот беспомощный ее плач переплеснул мне сердце. Оно уже не могло таить, не могло удержать того, что в нем копилось, — и это выплеснулось: что-то блеснуло мне, как вдохновенье, откровенье. По мне пробежало дрожью... и страх, и радость. Я уже знал. Знал, что таившееся во мне, неясное... сейчас вот станет ясным, раскроется. В мыслях... — или в душе?... — светилось и просилось определиться и стать реальностью, было в каком-то взвешивании, в некоей неустойчивости — «да?.. нет...? Светилось одно слово, как живое, — точнее не могу выразить. Это слово было — суббота. Взвешивалось оно, качалось во мне — «да?.. нет?..» И я уже знал, что — «да». Как бы по вдохновению, слушаясь голоса инстинкта, не рассуждая... а также и по привычке к протоколу, я поставил вопрос о «сроке»: «когда это произошло?» Стараясь подавить волненье, я тут же восстановил, для них:

Встреча Васи Сухова со старцем на Куликовом Поле произошла около 5 ч. пополудни, в канун памяти Великомученика Димитрия Солунского, в субботу, 25 октября, — в родительскую субботу, «Димитриевскую». Это бесспорно-точно: Сухов возвращался от

дочери, со ст. «Птань», где его угостили пирогом с кашей, и он вез кусок пирога внукам, потому что в тех местах этот день доселе очень чтут и пекут поминовенные пироги... пекли и в это время всеобщего оскудения. Я восстановил для них с точностью, когда произошло явление — там. И знал, с неменьшей же точностью, когда произошло явление — здесь.

Оля, смертельно бледная, вскрикнула:

— «Да?!... вы точно помните?.. в родительскую?!.. я... я в церкви поминала... Папа... слушай... па-па!... — задыхаясь, едва выговорила она, держась за сердце, и показала к письменному столу, — «там... в продуктовой... записано... и в дневнике у меня... и в твоей...!»

И выбежала из комнаты.

Среднев глядел на меня растерянно, почти в испуге, — и, вдруг, что-то поняв, судорожно рванул ящик стола... но это был стол профессора. Бросился к своему столу, выхватил сальную тетрадку, быстро перелистал, ткнул пальцем... Тут вбежала Оля с клеенчатой тетрадью. Среднев — руки его тряслись — прочел прерывисто, задыхаясь: «...200 граммов подсолнечного масла... 300 граммов пшена...» штемпель... 7 ноября...»

— «Но это... 7 ноября!..» — крикнул он, в

раздражении, не то в досаде, и растерянно посмотрел вокруг.

— «Да!.. 25 октября, по-церковному!.. в «родительскую» субботу!... в церкви была тогда, 7 ноября... поминала... ты ходил по Посаду...!» — выкрикивала, задыхаясь, Оля, — «в ту же субботу, как там, на Куликовом Поле...! в тот же вечер... больше четырехсот верст отсюда!.. в тот же вечер!.. Па-па..!»

Она упала бы, если бы я не поддержал ее, почти потерявшую сознание. Среднев смотрел, бледный, оглушенный, губы его сводило, лицо перекосилось, будто он вот заплачет. Он едва выговорил:

— «В тот же... вечер...»

Он опустился на подставленный мною стул и закрыл руками лицо.

Оля стояла над ним, схватившись за грудь, и смотрела молча, понимая, что с ним сейчас совершается важнейшее в его жизни. Среднева сотрясало спазмами. Подобное «разряжение» я не раз видал в моей практике следователя, когда душа преступника не в силах уже держать давившее ее бремя и — разряжалась, ломая страх. Но тут было сложней неизмеримо: тут рушилось все привычное, рвалась основа и замещалась — чем?.. На это ответить невозможно: это вне наших измерений.

Оля смотрела напряженно и выжидательно, и это было такое нежное, почти материнское душевное движение — взгляд сердца. Я... не был потрясен: я был светло-спокоен, светло-доволен... — дивное чувство полноты. Видимо, был уже подготовлен, нес в «подсознательном» бесспорность чуда. Мелькавшие в мыслях две субботы — слились теперь в одну, так поразительно совпали, такие разные! Два празднования: — там — и здесь: Неба — и земли, Света — и тьмы. И как наглядно показано. В ту минуту я не высказывался: я светло держал в сердце. Уверовал ли я?.. Кто скажет о сокровеннейшем? кто дерзнет сказать о себе, как и когда уверовал?! Это держит потайно сердце.

Я тогда испытал впервые, что такое, когда ликует сердце. Несказанное чувство переполнения, небывалой и вдохновенной радостности, до сладостной боли в сердце, почти фи-зической. Знаю определенно одно только: чувство освобождения. Все, томившее, вдруг пропало, во мне засияла радостность, я чувствовал радостную силу и светлую-светлую свободу, — именно, ликованье, упованье: ну, ничего не страшно, все ясно, все чудесно, все предусмотрено, все — ведется... и все — так на-

ло. И со всем этим — страстная, радостная воля к жизни, — полное обновление.

Было и еще чувство, но не столь высокого порядка: чувство профессионального торжества: раскрыл! Будто и неожиданно? Нет, я, внутренно, уже ждал «самого важного». И оно раскрылось: из Сергиева Посада я уехал совсем другим, с возникшей во мне основой, на которой я должен строить «самое важное». Это — бесспорный факт.

Чувство профессионального торжества... Но я знал, что это не я одержал победу, а Бог помог мне в моей победе: я одержал ее над собой, над пустотой в себе. Эту победу определить нельзя: это необъяснимо в человеке, как недоступны сознанию величайшие миги жизни — рождение и смерть. Тут было — возрождение. Это—невидимая победа-тайна.

А видимая победа была до того наглядна, что оспорить ее теперь было невозможно: никакими увертками «логики», никакими доводами рассудка нельзя было опорочить «юридического акта». Мое предварительное заявление о дне и часе явления на Куликовом Поле и почти одночасно здесь, в Посаде, было подтверждено документально: записями в дневнике Оли и в грязной тетрадке Среднева — о... подсолнечном масле и пшене! ка-кими

же серенькими мелочами! — вот, что разительно. Сколько же мне открылось в этом!.. Господи, Красота какая во — всем Твоем!...

Со Средневым свершалось сложнейшее и, конечно, непостижимое для него — пока. Он отнял от лица руки, окинул все — стыдливо, смущенно, радостно, — новым каким-то взглядом... смазал, совсем по-детски, слезы, наполнившие глаза его, и прошептал облегченным вздохом, как истомленный путник, желанный покой обретший:

» Го-споди...!»

Оля, в слезах, смотрела на него моляще-нежно.

В Посаде я пробыл тогда недели две, не мог, не хотел уехать. Много нами тогда переговорилось и передумалось...

Особенно поражало нас в нами воссозданном: «суббота 7 ноября», сомкнувшаяся со «святой субботой», ею закрытая. Оля видела в этом — «великое знамение обетования», и мы принимали это, как и она. Как же не откровение?!.. не благовестие?!... То, давнее, благовестие — Преподобного Сергия Великому Князю Московскому Димитрию Ивановичу — и через него всей Руси Православной — «ты одолеешь!» — вернулось и — подтверждается. И теперь — ничего не страшно.

Мы переменялись явно, мы этого теперь хотели. Мы ясно сознавали, что это, для нас, начало только... но какое прекрасное начало! Мы понимали, что впереди — огромное богатство, которого едва коснулись. Но это личное, маленькое н а ш е: тогда, в беседах, нам открывалось все наше, родное, — о б щ е е — вневременное и временное, небесное и земное... — какие упованья!.. Не для нас же, маловеров, явлено было чудо... И раньше, до с е г о, идеалисты, дети родной культуры, мы теперь обрели верную о с н о в у, таинственно нам дарованную в е р у. И поняли, оба поняли, что идеалы наши питались ее с в е т о м. Во имя чего? ради чего? для кого?

Какие были дивные вечера тогда, какие звездные были ночи!.. какую связанность нашу чувствовали мы с о в с е м!.. Это был, воистину, творческий подъем.

И стало так понятно, п о ч е м у, в темную годину, когда разверзлась бездна, пытливые, испуганные души притекали в эту тихую в о т ч и н у, под эти розовые стены Лавры... ч е г о искали.

В светлой грезе, я покидал Посад. Лавра светила мне тихим светом, звала вернуться. И я вернулся. И до зимы приезжал не раз.

Приехал, как обещал, перед Рождеством. Все кругом было чисто, бело, — и розовая

над снегом Лавра, «свеча пасхальная». Шагая по сугробам, добрел я до глухой улочки, постучался в занесенный снегом милый голубой домик... — никто не вышел. Соседи таинственно пошептали мне, что господа спешно уехали куда-то...

Очевидно, так надо было.

Январь-Февраль, 1939. — Февраль-Март, 1947.

Париж.


СТАРЫЙ ВАЛААМ

В поминальном очерке — «У старца Варнавы» — рассказано, как, сорок лет тому, я, юный, двадцатилетний студент, «шатнувшийся от Церкви», избрал для свадебной поездки — случайно или неслучайно — древнюю обитель, Валаамский монастырь. Эта поездка не прошла бесследно: я вынес много впечатлений, ощущений, — и вышла книжка. Эта первая моя книжка, принесшая мне и радость, и тревоги, давно разошлась по русским городам и весям. Есть ли она за рубежом — не знаю; вряд ли. Перед войной мне предлагали переиздать ее, — я отказался: слишком она юна, легка. Ныне я не писал бы так; но суть осталась и доныне: светлый Валаам. За это время многое переменилось: и во мне, и — вне. Россия, православная Россия — где? какая?! Да и весь мир переменился. Вспомнишь... — а Троице-Сергиевская Лавра? а Оптина Пустынь? а — Саров? а Соловки?!.. Валаам остался, уцелел. Все тот же? Гово-

рят, все тот же. Слава Богу. Ну, конечно, кое в чем переменился, — время, новая судьба. Говорят, — туристов принимает, европейцев. Это не плохо, и для него не страшно: «да светит миру». Как-то я читал в «Матэн» о Валааме. Журналист-француз, конечно, многого не понял «в Валааме», но — уважением проникся. Помню, писал: «своей идее служат... мужики-монахи». Не плохо, если «мужики» — идее служат. Сколько перевидал французский журналист, что может удивить его? А Валааму удивлялся. Не плохо это. Да, стал другой немножко, Валаам. Но жив и ныне. Раньше — жил Россией, душой народной. Ныне — Россия не слышна, Россия не приходит, не приносит своих молитв, труда, копеек, умиленья. Но он стоит и ныне, Светлый. Его не разрушают, не оскверняют, не — взрывают. Суровая Финляндия к нему привыкла. Ведь и в прошлом он был в ее границах: природа их объединила. Помню, сорок лет тому, «полицейский надзор» над ним держали те же финны. Валаам чужим им не был: такой же, как и они — суровый, молчаливый, стойкий, крепкий, трудовой, — крестьянский. Валаам остался на своем граните, — «на луде», как говорят на Валааме, — на островах, в лесах, в проливах; с колоколами, со скитами, с гранитными крестами на лесных до-

рогах, с великой тишиной в затишье, с гулом лесов и волн в ненастье, с трудом — для Господа, «во Имя». Как и св. Афон, Валаам, поныне, — светит. Афон — на Юге, Валаам — на Севере. В сумеречное наше время, в надвинувшуюся «ночь мира», — нужны маяки.

Я вспомнил светлую страницу — в прошлом. Недавно, как бы в укрепление себе, узнал, что два послушника, кого я мимоходом повстречал на Валааме, пометил в книжке, совершили за эти годы подвиг. Узнал, что стали «светом миру», что они живут. Валаам дал им послушание. И вот, живые нити протянулись от «ныне» — к прошлому, и это прошлое мне светит. В этом свете — тот Валаам, далекий. И я подумал, что полезно будет вспомнить и рассказать о нем: он все такой же, светлый.

I. — К ВАЛААМУ.

...В половине 3-го часа утра разбудил меня звонок в коридоре гостиницы. Было еще совсем темно. Видно только, как бегут в небе тучи, то открывая, то заслоняя звезды. Очертания собора высятся над березами. Озеро гремит, шумят березы. На колокольне ударили к полунощнице. Стучат сапоги монахов по каменной дорожке, — тянутся иноки к собору.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа..?

— Аминь.

— «Александр» через час отходит, — говорит брат Тихон, послушник, — с вечера еще пришел, волны берегся.

— Неспокойно озеро?

— Да не так чтобы... волнисто. Большой бури не будет, а покачает.

Опять это «покачает». Из Шлиссельбурга вышли на «Петре Первом» — так трепало,

что мы сошли на Коневце, отсиживались, приготовлялись к Валааму. И вот, теперь и на «Александре» покачает.

— Это ничего-с, — успокаивает нас брат Тихон, — для испытания вам, наше озеро дух смиряет, а потопления вам не будет, преподобный Арсений сохранит.

Я смотрю на его простоватое лицо: нет, он не шутит, он твердо верит, что «потопления не будет». Вспоминаю шутливые слова гостинника — «а потому вас и раскачало, чтобы мимо Преподобного не проезжали... вот и привелось к нему заехать... а теперь хорошо вам будет». Да будет ли? Я слышу, как накатывает море.

Идем в собор — проститься. Охватывает сырость и особый, глубинный, запах разбушевавшейся Ладоги. В небе бегут разорванные тучи. У святых ворот преп. Арсений, в схиме, благословляет нас из полутемного залома. В двери собора видны редкие огоньки свечей. Мы входим в пустынный храм и слышим проникновенный возглас служащего иеромонаха: «Услыши ны, Боже Спасителю наш, упование всех концев земли, и сущих в мори далече...» — и я вспоминаю о бурном море, — ...«и милостив, милостив буди, Владыко...» И я молюсь о милости, и вспоминаю, как петербургский извозчик-хозяин, ехавший

на Валаам на «Петре I», приговаривал: «кто в море не бывал — тот Богу не молился».

Разноцветные лампады над ракой преп. Арсения Коневского мерцают сонно. Над ними, в красивых сборах, малиновая бархатная сень. Старенький, едва двигающийся монах, разинув от слабости рот, ставит обеими руками дрожащую в них свечку. Накрытый складчатой мантией, неподвижно простерся перед ракой монах в молитве. Под сводами мрак, в темноте алтаря цветными огоньками теплится седьмисвечник, а кажется мне, что стою за полунощницей на Светлый День: только тогда бывает такая тишина и сумрак. И вдруг, с озера, загудел грозно пароход, — звал в путь. Бросив прощальный взгляд на тихие лампады над серебряной ракой Преподобного, я пошел к выходу. «Доброго пути...» — сказал мне кто-то. Я оглянулся. На досчатом полу чернела мантия, складки закрыли голову. — «Спасибо», — сказал я с чувством невидимому иноку.

Начинало светать. Старичок-гостинник уже отправил на пристань наши вещи. Мы сердечно простились с ним, расцеловались даже. — «На Валаам съездите — нас и забудете... далеко нам до Валаама». И я вспомнил, как он рассказывал с сокрушением, что не стало у них нынче схимонахов. — «А каждому жела-

тельно схимонаха видеть... всякому хоть поближе быть к высокому подвигу желается». Мне жаль было этого старичка, обиженного за свою обитель, полного веры, что захочет Господь — и покажет славу обители: дарует и им подвижника.

Второй гудок. Мы сбегаем под гору, к пристани. Монашек сбрасывает причал и смотрит вслед. Дальше и дальше уходит лесом поросший Коневец. На неспокойных водах поднимается огненное солнце, огромное в тумане. — «Сартанлакс!» — кричит штурман. Перед нами — «Чортов Залив» — «Сартанлакс» по-фински, куда опустилась некогда черная стая воронов, изгнанных Преподобным из-под страшного «Коня-Камня», где было капище. Это глубокий залив, окаймленный лесом. Видны домики, пристань, бочки, белый маяк-игрушка на косе. Небо ясно, солнце уже в-полнеба, и видно, как на водах, лежит, весь освещенный солнцем, покинутый нами Коневец.

Бросив на пристани ящики и бочки, «Александр» идет финским берегом. Березки, елки, каменистые косы с белыми маячками у воды. Озеро не бушует. Говорят — камни не допускают, а вот, как свернем в открытое — молись Богу!

— На Валаам изволите ехать? — спрашивает

краснощекий парень в лаковых сапогах и пиджаке. — Молиться... это хорошо-с. Я вот десятый раз подвизаюсь. По железной части. Великие мастерские у монахов, мы и скупаем которое железо остается, оковку из кузниц ихних, пудиков по триста. По опасному месту едем, камни невидимые, чуть прошибся капитан — прощай. Но только они не прошибаются. И потом — по священному делу едут, не для гулянок.

Я спрашиваю себя — а я, по какому делу? И — не знаю.

Плывем в тихих проливах, среди целой щетины «шхер». Это надводные камни, гряды, поросшие тощей елкой. В береговых утесах виднеются деревни, крытые светлой дранью, желтые тощие полоски — овес, ячмень. — «Кронобор!» — кричит штурман. Деревянная «лютерова» церковь с тонким шпилем. Сумрачные финны, в куртках и крепких, тяжелых сапогах, курят трубки: ни улыбки под их разухими шляпами. Кончились остановки. «Александр» поворачивает в озеро, — к Валааму. До него. говорят, верст семьдесят.

Прибегают матросы, крепят паруса потуже: ветер! Черные волны будто маслом подернуты, кажутся мне расплавленным графитом. Паруса щелкают. Пароход теперь мчится, склонившись набок. Нас качает и бортом, и

килем, руль взлетает и падает с треском, и вспоминаются мне качели. Старик финн, шкипер, обходит борт, что-то тревожно смотрит. Говорят — следит, как бы цепь не порвало, рулевую, — «тогда — куда затащит, на камушки выкинет — сушись». Паруса рвет и щелкает. Матросы бегут крепить.

— Не Валаам ли? — спрашиваю я шкипера, что-то как-будто видя.

— Нэйт Валямо... трисать вэрстэ.

Капитан высматривает в трубу. Налетает туча, сечет дождем. Теперь ничего не видно. Говорят — как бы туманом не хватило, тогда — прощай. Вон, матросы уж слушать стали — не позывает ли. Что позывает? А колокола валаамские: как видимость пропадает, монахи позывают, «сюда, в тихую пристань, к Преподобным!» Серебряный звон, хороший, ясный. Нет, не слышно серебряного звона, не синеют острова Валаамские. Томительные часы проходят. Дождь переходит в ливень, визжит ветер, хлопают паруса. Богомольцы, в кучке, поют — «Не имамы иныя по-мощи... не имамы иные наде-э-жды... разве Тебе, Влады-чице...»

Валаам видать!... слышу я. Слава Создателю... показался!

Перед нами высокий темнозеленый остров. Пеной кипит округ него озеро — море. На

гранитную стену бежит «Александр», вот, ударит! Ближе — остров дробится на острова. Видно проливы, камни, леса. Древностью веет от темных лесов и камней. Из-за скалистого мыса открылся «Монастырский Пролив», великолепный. Слева, совсем на отлете, каменный островок, на нем белая церковка, крест гранитный, позади — темный бор. Это маяк и скит, страж Валаама и ограда — Никольский скит. Чтимый Святитель бодрствует на водах, благословляет входящих в тихие воды монастырские, указывает путь «и сущим в мори далече».

Входим в пролив, двигаемся в отвесных скалах. На них, высоко, леса. Воздух смолистый, вязкий. И — тишина. Чувствуются лесные недра. Покой. Богомольцы, как бы передают охватывающие их чувства. Поют — «Свете тихий, святы-ые славы... Бессме-э-ртного Отца-а Небесного...» Сердце дрожит во мне. — «В раю вот так-то...» — слышится чей-то возглас. — «Лучше и быть нельзя». Острый гудок катится по проливу. Отвечают ему леса и скалы. Влево, на отвесной скале, высоко, — собор. На голубых куполах, без солнца, кресты сверкают — червонным золотом. По высоченной скале лепятся клены, висят над фруктовым садом. — «Са-ды у них... нигде таких нет садов!» На скале черная ниточка —

решетка. Точками смотрят на пароход монахи. На соборе благовестят к вечерне. Спускается по горе повозка. На деревянной пристани встречают богомольцы. Монахи-певчие выступили вперед и ждут.

«Воскресение Христово ви-девше, поклонимся Святому Господу Иису-усу...» — поют на пароходе и крестятся на кресты Собора.

«Единому безгре-ешному...» — вливаются с пристани монахи и огромная масса богомольцев.

Я вижу слезы, блистающие глаза, новые лица, просветленные. Стискивает в груди, восторгом. Какая сила, какой разливающийся восторг! И — чувствуется — какая связанность. Всех связала и всех ведет, и поднимает, и уносит это единое — эта общая песнь — признанье — «Единому безгрешному». Все грешные, все одинаки, все притекаем, все приклоняемся. Такого не испытывалось ни от Штирнеров, ни от Спенсеров, ни от Штраусов, ни от Шекспира даже. Я чувствую — мой народ. И какой же светлый народ, какой же добрый и благостный. Не предчувствую ничего.

— Потрепало маленько, — говорит встречающий знакомец, питерский извозчик, — а мы на «Петре» чисто как по стеклу доехали. Намаялись, теперь будет утешение душе.

На пристани гранитная часовня. Перед иконой Богоматери служат благодарственный молебен. Небо дождливое. На всем — серая пелена ненастья. Но — благодатное на душе. Крепкая низкорослая лошадка быстро несет нас в гору, к величественному зданию гостиницы. На этих скалах, в лесах — такое! Не ждал, не думал. И я вспоминаю — дорогой говорили: «такие чудеса увидите..! И все — они... все, своими трудами, и все сами, до последнего гвоздика!..»

II. — НОВЫЙ МИР.

Навстречу, с горы спускаются к пароходу богомольцы. Валаам вчера праздновал Преображение Господне, было большое стечение народа: новый собор, сияющий нам крестами, — во имя Преображения. На пароходе говорили, что весь Валаам полнехонек, народу со всех краев. Я спрашиваю возницу, подростка в скуфейке, — много ли богомольцев. Он не отвечает. Я спрашиваю громче; уши его краснеют, плечи чуть ежатся, но он не оборачивается, молчит. Спрашиваю еще громче, почти кричу. Уши его краснеют еще больше. Я понимаю, что он слышит... и вспоминаю, — рассказывали нам на пароходе: «там все на послушании... не благословлено кому — от того слова не добьешься». Пожалуй и наш возница не благословен разговаривать. Ему, видимо, хочется ответить, но он несет послушание и потому, от скромности, краснеет. Да

и вид наш, пожалуй, его смущает. Мы совсем не похожи на богомольцев. Встречные больше простой народ, с котомками и мешками, или мещане-горожане, с узелками и саквояжами, народ положительный, «сурьезный», а мы — «ветром подбиты», как назвала нас на пароходе одна пожилая женщина, питерская, сказавшая про себя: «у меня сынки по торговой части, большая у нас рыбная лавка в Апраксином». И определила метко: поклажи у нас только чемоданчик, и одеты мы налегке, словно вышли «пройтись для воздуха». Жена, девочка совсем, — в летней шляпке с вишенками и в «живой» тальмочке, по локоть, модной: тальмочка в круглых дырках и через эти дырки сквозит серебристая подкладка. Я одет несколько солидней, в студенческом кителе, шинель внакидку, фуражка на — ухо Выехали из Москвы в жаркую погоду, а тут, на озере-море, «на севере», вдруг завернули холода. Женщина нас жалела: «да как же это вас так пустили! у нас тут, милые, в августе и снежок бывает... ишь вы какие несмысленные». И всю дорогу укутывала жену платком.

Встречные богомольцы смотрят во все глаза, — кажется, говорят: «богомо-льцы, тоже... гулять приехали!» Я думаю смущенно: и монашонок не отвечает, и уши у него краснеют, — от непристойности.

Подъезжаем к белой величественной гостинице. На ее вышке, в «гнезде», — написана икона валаамских чудотворцев, преподобных Сергия и Германа. Преподобные стоят, в золотых венчиках, и держат свитки с писанием. Юные глаза остро видят, и мы читаем: на левом свитке — «Братие, покоряйтеся благоверному царю...», а на правом, у преп. Германа, — «Три-Солнечный свет Правосла...» У ног Преподобных — озеро; над ними, в лазурном небе, — Преображение; за ними — между ними — белая Валаамская обитель, пониже их.

На широком каменном крыльце встречают несколько человек гостинных служек, в белобумажных подрясниках, стянутых кожаными поясами, и во главе их коренастый, низенький старичок, — в потертой камилавке, испытующе вглядывается в нас: видно — не ожидал таких. Это «хозяин» гостиницы, о. Антипа. Взгляд его серых глаз смущает: я вспоминаю, как та женщина опасливо говорила нам: «Вот и Бог соединил, а как бы не разлучили вас! вас в одну келейку, а супружечку в другую. Лет тридцать тому, были мы тут с покойным мужем, нас разлучили... такой уставный закон у них, старца Наза-рия, Саровского, очень строго». Жена измучена морской болезнью, я тоже едва держусь, как же

ее оставить? Это меня пугает, и я даю слово, если это случится — с первым же отсюда пароходом!

— Благослови Господи доброе пребывание... Дело хорошее, Преподобные радуются на вас... — ласково, но с сомнением, встречает о. Антипа, а глаза смотрят строго. — Из Питера быть изволите..?

Взгляд испытующий. Я ожидаю в тревоге, что «разлучит» Почтительно ожидают служки.

— Нет, из Москвы... — отвечаю я и вижу общее удивление.

— Из Мо-сквы-ы...?! — с сомнением говорит о. Антипа, — сдалё-ка вы... — в голосе нерешительное что-то.

Надо сказать, что московские богомольцы на Валааме редки; большинство — питерцы, псковичи, новгородцы, олончане, финны. А теперь — какие?..

Ответ не удовлетворяет мудрого о. Антипу. Пронизывая взглядом, он задает «роковой» вопрос:

— Вы кто же... братец и сестрица..?

— Нет, муж и жена!

Мой, несколько вызывающий, ответ — о, юность! — производит сильное впечатление. О. Антипа озадачен, даже поправляет камилавку. Послушники — как изваяния.

— Вон кто-о..! из Москвы, сдалека...

Он смотрит на нас над нашими головами, в даль. Что думает? Думает ли о юных, кто перед ним, о далекой Москве, где не был, о строгом ли уставе старца Назария... или вспомнил слова молитвы — «яже Бог сопряже, человек да не разлучает»? Видно, как он колеблется. Мы растерянно смотрим и ждем решения. Но он не решает сразу.

— Минутку обождите, милые... — говорит он не строго, и в широкие двери видно, как он поспешно идет по лестнице, на второй этаж. С кем-то советоваться будет..?

Мы остаемся с немыми служками. Они смотрят на наши ноги, мы на их рыжие сапоги с гвоздями. Играют часы на колокольне, кричат стрижи. Рыжие сапоги переступают. Слышится бег шагов: это о. Антипа. Он спускается с лестницы, подбирая под камилавку седые пряди, скрывается за дверью, гремит ключами... и — приказывает вести нас в келью № 27, в первом этаже, подать самоварчик, «с далекой дорожки упокоить». Чудесный, светленький старичок. Мне хочется рассказать ему... кого-то он мне напоминает, кого уже нет на свете.

Послушник берет наш чемоданчик, ведет по исхоженным беловатым плитам.

— Пожалуйте, Господи благослови... в келейку.

Чудесная келейка. Белая, светлая, узковата немножко, правда, — но как чудесно! Две чистые белые постели. В углу икона знакомых Преподобных. Теплится розоватая лампадка. Окно — в цветник. Там георгины, астры, золотисто-малиновые бархатцы, петуньи. И — тишина. Направо — собор, над монастырскими кровлями, за корпусами. Прямо — дикие скалы за проливом, на них леса. Новый, чудесный мир, который встречал я в детстве, — на образах, — стелющийся у ног Угодников: голубые реки, синеющие моря, пригорки, белые городки, озерки, плоские и кривые сосны, похожие на исполинские зонтики, и все — под белыми облачками-кудерьками... мир, в котором живут подвижники, преподобные, неземные... — мир Ангелов и небесных человеков. И этот забытый мир, отшедший куда-то с детством, — пришел, живой. Помните, в раннем детстве, видали в церквах иконы «с пейзажами»? На первом плане — большой Святой, и свиток в его руке белеет над синим морем, над бурыми холмами, над городком? Таинственный мир, чудесный, детскому глазу видимый, детскому сердцу близкий.

Нам очень нравится. В келейке пахнет елеем от лампадки, свежевымытым еловым по-

лом, чем-то душисто-постным, черными сухарями богомолья. Вызванивают часы на колокольне и потом отбивают мерно — четыре раза.

— Молитвами Святых Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй на-ас..!

Смотрю на дверь: почему же никто не входит? Опять кто-то позывает:

— Молитвами Святых Отец... Господи Иисусе Христе Боже наш..?

Дверь тихо подается, просовывается большая книга, а за ней намасленные власы, падающие с плеча на книгу, и вступает благообразный послушник.

— Уж извините, для порядку наставлю вас. На возглас приходящего поаминить надо, без аминя у нас не входят.

Я поражен, обрадован. Како-е «уважение к личности»! Мне, студенту, не думалось встретить такое «у святошей»! Я уже разрешил вопросы о «тунеядстве монахов», о «ханжестве», о «ненужности этих пустяков». Чернышевский, Белинский, Добролюбов и все, доказавшие мне «свободу человека от этих предрассудков», т а к о г о никогда не говорили: «Без аминя у нас не входят»! Я готов горячо пожать руку этому новому учителю, но она держит книгу.

— Позвольте, запишу ваше имя — звание в

гостиничную тетрадь, по полицейскому правилу... мы под финской полицией. Мы паспортов не смотрим, по виду верим... — говорит послушник. — Гостиница наша не мирская, а по благословению от Преподобных. Нет, у нас за постой не полагается, — ни за трапезу, ни за постой... что вы-с!.. Почитайте наши правила, у нас полная душе свобода. Как силы будет, так и дают, кто может, по достатку... от Преподобных уставлено.

Я — в изумлении. «Корыстные монахи? Да что же это, почему про это не говорил ни Бебель, ни... «Как силы будет... по достатку... полная душе свобода»!..

— Сту-дент..? — говорит послушник, — значит, науки происходите? У нас редко они. Говорят вон, студенты... Да не надо праздное говорить, Господь с ними.

Я спрашиваю, есть ли у них подвижники и схимонахи. Десять схимонахов, обитают по всем скитам. А прозорливцы есть? Он улыбается:

— Все у нас прозорливцы: знаем, что завтра будет.

Смиренно кланяется и уходит. Почему он мне так ответил? Должно быть показалось, что спрашиваю я из любопытства. Может быть думает, что я не знаю, что значит — прозорливец? Не знает, что я видел прозор-

ливца на днях, у Троицы, — батюшку Варнаву, благословившего нас «на путь». Может быть думает — студент, все у них так, в насмешку.

— Молитвами Святых Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш, по-ми-луй нас!..

Я говорю — аминь. Послушник, новый, бухает в дверь ногой и вносит бурлящий самовар на медном подносе, с чашками. Он — простоватый, толстоносый, круглое лицо его сияет, как самовар.

— Буду вам служить. А зовите меня брат Василий. Земляки мы с вами, тоже из Москвы я, с Сухаревки... посудой папаша торговали Ну, как Москва все еще стоит, не провалилась? Как так не может провалиться? Может провалиться. Греха так много. Грешные города всегда проваливаются... Содома — Гоморра провалилась! Ну, вкушайте на здоровье.

По коридору проходят служки, напевают вполголоса стихиры. От праздника осталось много богомольцев, но их не видно: стоят вечерню. А нам снисхождение, с дороги — самоварчик.

Как мышки, тихо, ложимся мы отдохнуть на каменные валаамские постели. Глаза закроешь, и — будто укачивает в море. Отбивают часы на колокольне, и вспоминаются на паро-

ходе «склянки». Из окошка веет вечернею прохладой, дыханьем Ладоги. Сон крепкий — крепкий...

Открываю глаза... — где день? Мутно белеет занавеска, пузырится от дуновенья, — веянья валаамской ночи. В щелку от занавески видно: лес за проливом смутен, небо зеленовато-бледно, точками намекают звезды. Вспоминаю, что я на Валааме, в чудесной дали. Радость поет во мне. Тихо иду к окну, чтобы не потревожить спящую, отдергиваю тихо занавеску. Какая тишина! Темная глушь на скалах за проливом, в ней ничего не видно, — острые пики елей? Где-то, чуть слышно, Ладога, — еще тревожна. Это направо, у Никольского островка — скита, зоркого стража Валаама. Там, говорят, маяк. Так, говорят, Святитель — «зовет огнем». Пахнут петунии. Падают сонные удары — ...три... семь... восемь... Восемь.

— Молитвами Святых Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш, поми-луй нас...

Это брат Василий. В келье розовый свет — от дремлющей лампадки. Брат Василий зажигает стеариновую свечку в красно медном подсвечнике. Приносит на подносе миски.

— О. Антипа благословил, с дорожки, а то общая у нас трапеза. Завтра о. игумен как возвестит, а покуда уж в келейке вкушайте.

В мисочках щи с грибом, с лавром и перчиком, каша с конопляным маслом, винегрет, посыпанный семечками тмина и укропцем; стопа душистого хлеба валаамского, ломтями, — черный хлеб монастырский в славе, а «валаамский» — «в преславности», — пузатый графин темномалинового квасу.

— Отведайте нашей пищи, во славу Преподобных. Наша пища секрет имеет.

— Секрет..?

— Даже два секрета. Поначалу она не вкусна для чистого богомольца. Хлебнет, понюхает и положит ложку. А как подберется в чемодане, глядишь — и привыка-ет, да так привыкает, что и мыть мисочку незачем. Другой..? А другой секрет вот какой. Поначалу с нашей пищи слабнуть начинает непривышный человек, похудает, побелеет... и тут, будто что переломит в нем! Пойдет и пойдет в силу восходить, и такая в нем сила объявляется... в миру не было такой силы, когда всякую снедь вкушал. Наша пища благословленная, с молитвы. Над ней песнопения поют, дух-то силу и набавляет. Сами дознаете — поживете.

10 часов. Богомольцы потрапезовали, помолились в соборе и спят давно. Монахи еще в храме, слушают правило. Собор темнеет громадой на сумеречном небе. Блистают кре-

сты — от месяца? Дремлет суровый Валаам на камне, водами от мира огражденный. Спят леса на святых горах, укрытые скиты — по островам и дебрям. Светлеет за проливом: из-за черных еловых пик разливает сиянье месяц.

III. — ГЛАС В НОЩИ.

Уставши от впечатлений дня, я бездумно заснул на каменном валаамском ложе.

Резкий звонок пробудил меня на пороге глубокой ночи. Странное ощущение — тревоги, радости... что-то знакомое..? Будто бы я в гимназии, и старик-швейцар, прозванный за кругло-лысую голову «Цезарем», возвестил радостным звонком, что латинский урок окончен, и можно бежать домой. Но кто-то, таинственный, мешает... будто учитель пения, призывает на спевку — «после уроков — в зал!» И знакомое чувство — как-нибудь увильнуть от спевки, от трудного «Бортнянского», где никак мне не удается «соло», а дома у нас, в саду, дожидается недоделанный каток, — остро меня тревожит.

«Пе-нию вре-мя...» — слышится заунывный голос, — «мо-ли-тве ча...а-ас!» — и резкий звонок, за дверью, говорит мне неодолимо,

что от спевки не увильнуть. И вот, где-то уже поют... и, как-будто, отец диакон, церкви Николы в Толмачах, приходивший в гимназию служить панихиды и молебны с гимназическим батюшкой, почему-то грустный, уже возглашает в зале: «Господи Иисусе Христе... Бо-же наш...» — и умолкает. Я хочу спать, но о. диакон не уходит. Я чувствую, что я ему очень нужен, и он где-то стоит за дверью и ждет меня, и опять начинает возглашать: «...поми-луй на-ас..!» И звонит, и звонит за дверью.

Сколько же лет прошло с той валаамской ночи? Со-рок лет! А я еще слышу этот звонок и возглас. Думалось ли тогда — что будет?! Думал ли я, что о. диакон от Толмачей — не простой диакон, а знаток творений Отцов Церкви и... Достоевского, что он станет иеромонахом, примет схиму, примет великий подвиг русского старчества, как о. Варнава у Троицы, как старец Амвросий Оптинский, как старец Макарий Оптинский, послуживший для Достоевского прообразом старца Зосимы в «Карамазовых»! Думал ли я тогда, в прочной российской безмятежности, что придет страшная година, и этот о. диакон призван будет из крепкого затвора, из Смоленско-Зосимовой пустыни, как почитаемый православной Русью подвижник иеро-

схимонах о. Алексий, на Всероссийский Собор, и ему выпадет высокий и строгий жребий — вынуть из-за иконы «Владимирской Богоматери» написанное на бумажке имя Святителя — Патриарха — Мученика Тихона? Думал ли я, что этот звонок и возглас «о. диакона», — «время пению, молитве час», — как бы приснившийся мне, станет и для меня знамением чего-то?!..

Но вот, кто-то, ожидающий за дверью, перестает звонить. Я слышу знакомый голос — и вспоминаю, что нет никакой гимназии, я студент, я на далеком Валааме, вчера приехал, что я женат, что это будят к полунощнице, и ждут от меня ответа — «аминь». На молитвенный возглас — здесь надо «поаминить». Так вчера наставлял меня послушник, и это ему, пожалуй, голос о. Антипы, гостинника, говорит негромко: «не буди, Федор, пусть отдохнут с дороги... следуй дале».

Я слышу, как скребут по плитам коридора шаги «будильщика», печальный напев уходит дальше, звонок отдается глуше. Слышно неторопливые шаги по коридору, похлопывают двери келий, проходят богомольцы и служки, напевают вполголоса «Се Жених грядет в полунощи»... «Заутра услыши глас мой...» Я чиркаю спичкой, смотрю на свои часы — только без пяти час... самая ночь

глухая! — и слышу как ударяют в колокол, будто Святою Ночью! Радостное во мне волнение. Все уходят, надо и мне... — но сон обрывает мысли.

Ясный, голубоватый день. Бледно-голубое небо, молочные облачка, тонкие, как кисейка. На выбеленном окне веселые полоски солнца. Может быть от далекой Ладоги, еще тревожной, бьется бойкое отражение от волн, — «зайчик» на потолке. Я раскрываю окно, вижу бархатные леса на скалах, за проливом вдыхаю воздух... — не воздух, а юность, силу, надежды, радость, — вижу и чувствую, в сердце своем таю — «улыбку ясную природы». В цветнике — обрызганные росой астры, свежие звезды голубые, розовые и белые, — «земные звезды», пышные георгины, темные, как церковное вино, — все освеженное росистой ночью, все бодрое и, кажется, — все святое. И в кусту отцветающего шиповника, — август, а здесь еще не отцвел шиповник! — какая-то пичужка бойко высвистывает короткую песенку малого северного лета. И надо всем, свежим, светлым и радостным, — благословляющий перезвон — к «Достойно». Я делаю перед окном привычные по утрам движения, — «комнатную гимнастику», — дышу и дышу, вбираю в себя крепкий, настойный воздух, — с великих далей, с ле-

сов и Ладоги. Такого воздуха нет нигде. Он дотого прозрачен, что видно за проливом отдельные деревья, пестрые мхи на камне, трещины и «слойки»... как мотается мачта на монастырской сойме... как чертят по голубому небу черные точки ласточек... как по краю горы, над пристанью, черную блестит на солнце чугунная решетка.

—«Молитвами Святых Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш...»

Мы одеты, чего-то ждем, почему-то смущаемся высунуть нос из кельи, и возглас брата Василия восхищает нас. Я кричу радостно — аминь! Брат Василий, умасленный и новый, он теперь мне напоминает молодца-лавочника, — вносит... обед! А чай-то как же?..

— Рано у нас обедают. Одиннадцать уж, все намолились — наработались. А чаек бывает после ранней, кому желается. Ну, может, отец гостинник и благословит чайком.

Он ставит поднос с мисками. Пахнет ужасно вкусно, — будто перловый суп? Я засматриваю по мисочкам: будто и суп — и каша! Монастырская крашеная ложка, с благословляющей ручкой на стебельке, с написанным в выдолбке собором, стоит в похлебке — не падает. По винегрету рассыпаны кружочки

лиловой свеклы и глянцевитые рыжички. Брат Василий выглядывает за дверь, не идет ли отец Антипа: видно, хочет поговорить, — московский!

— Хорошо спали — почивали..? Это вот хорошо. Пользительный, значит, воздух... — и губы его шевелятся, хоть он и умолкает.

Я спрашиваю его, что это он все шепчет. Он почему-то запинается, но видно, что ему хочется мне ответить.

— Это и вам пользительно. От всяких забеглых мыслей и суемудрия надо творить «Иисусову молитву». Знаете?..

Я не знаю. Он говорит, раздельно: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного».

— Великая от сей молитвы сила, но надо уметь, чтобы в сердце как ручеек журчал... этого сподобляются только немногие подвижники. А мы, духовная простота, так, походя пока, в себя вбираем, навыкаем. Даже от единого звучанья и то может быть спасение.

Я не понимаю. Я даже спорю, что от «звучанья» не может быть спасения. Брат Василий выглядывает за дверь.

— Надо вас просветить, — вздыхая, говорит он. — По скудоумию нашему Господь сни-

сходит, просвещает даже и звучаньем святого слова. Я уж вам поведаю, какое вразумление мне было. Вы и запомните, для назидания. В миру этого не понимают, а приехали на Валаам — просветитесь для пользы души. Вот, как и вы, спервоначалу и я сомневаться стал. А это мне, значит, от н е г о было искушение. Стал раздумывать, а уж о н и поселился в душе, стал нашепчивать: «не молись походя, не шепчи пустой душой великое слово!» Стал я пугаться... может это ересь во мне стала, страх-то? Пошел к своему «старцу»... Какому «старцу»-то? И этого не знаете?! Обязательно должны знать, как же. Это в миру у вас все беспастушные, как овцы без пригляда, а у нас нельзя. У нас враг спасения о-чень напрягается смущать, ему в монастыре-то особенно хочется победить, а в миру-то — все под его началом. Вот, для спасения души, о. игумен каждому назначает старца, опытного в духовном делании. На всю жизнь старец назначается. А вот, мы ему должны все начисто открывать, всякое помышление греховное или сомнение какое, а он и наставит. Будто всю тяготу с души на себя берет, и нам от сего облегчение, как у Христа за пазушкой. И укрепляемся против наступления врага. И пошел я к своему старцу. Мудреющий старичок, очень любвеобильный. При-

шел я, а он так на меня и воззрился. И вижу я, что ему известно, что у меня в душе дух злобы гнездо вьет. И говорит мне старец: «молись, молись, и да не усумнишися!» Будто провидел, сказал-то как — «и да не усумнишися!» Я ему в ноги пал и все ему открыл, усумнение-то мое. Он меня благословил и возвестил. Возвестил-то? А так у нас, на Валааме, всегда говорят — возвестил. Значит — приказал. «Кайся», — говорит. — «И вот тебе по пятьсот поклончиков на день, за твое суемудрие. На сорокадневие. Да вот еще я тебе, говорит, во вразумление скажу одно словечко, вроде как притчу». И такую притчу сказал... сразу я проникся понятием смысла. Потому духа высокого мой старец, вроде как прозреватель.

— Какую же притчу? — спросил я, жаждавший узнавать.

— А вот какую, но только вы уж меня не искушайте, не посмейтесь. Была, говорит, у одного архиерея ученая птица, зовомая — попугай, потому что красные перья на хвосте носила. И знал тот попугай многие словеса кричать, наслышан был от того архиерея. А у архиерея была привычка... строгий был архиерей... все так, как кого наставляет: «не дерзни!» — так все говорил, и очень строго. Попугай и перенял, и полюбилось ему то сло-

во. Все, бывало, его кричал — «не дерзни!» И случись тому попугаю отлететь от архиерея... ну, скажем, не досмотрел служка. И взвился тот попугай в самые небеса. А за побег послан был на его ястреб. Цап-царап его сверху, в спинку ему вцепился... Попугай как заверещит со страху, да и крикни, в полную свою глотку, — «не дерзни-и!..» Ястреб как услыха-ал человечий голос, перепугался, да со страху попугая и выпустил! Вот какая притча. Понятно, никто такого не видал, а такая притча, для вразумления. Искуситель змий, враг довечный, как ястреб стерегет, и самый звук имени Господня ему престрашен. Вот он меня и смущал сомнением — «не молись, не поминай!» Обернуть хотел: дескать, суесловлю я, легкодушно святое Имя в уме держу. И получил наставление...

— «Молитвами Святых Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш...» — слышится за дверью, и на ответный «аминь» входит озабоченный о. Антипа.

— Чего застрял, суеслов? — шутливо пугнул он брата Василия, — дам вот послушание, недельку помолчать... Отдохнули с дорожки? — спросил он ласково, и его взгляд уставился на блюдечко с окурком. Он вздохнул, но ничего не сказал.

Я знал от богомольцев и читал «правила»

на стенке кельи, что курить в монастыре не разрешается. Я возмущался «строгостью», но признавал, что монахи имеют на это право: они меня не звали, я сам приехал, а «в чужой монастырь со своим уставом не суются!» Это мог бы сказать о. Антипа, но не сказал: может быть не хотелось смущать меня. Я сказал откровенно:

— Простите, батюшка... не воздержался.

— Да-да, слабость греховная. Бывает, и лба не покрестят, как проснутся — за курево. — Я так и делал. — Да не в табачке дело, а в слабости, в плоти угождении. Воздержание первая ступень. Поотдохнули?

— Все очень хорошо, — говорю, — только жестко, бока болят.

— Же-стко?! — укоризненно посмотрел о. Антипа. — А там, мягко нам будет? Перины пуховые пагуба. Тело нежится, а душа спит. А псалмопевец какой стих поет, а? Не знаете... «Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный, тако отцветет: Яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает ктому места своего».

— Так что же тут..?

— А вот то же. Не ублажай тела, потому оно — прах, а о душе пекись. Душу-то забываем. У вас дух-то и немощен, против табачку не можете, а что уж, как поважнее что

будет. Я к слову так. А теперь надо вам соблюсти устав, к отцу игумену объявиться, благословения на жительство испросить. Я и поведу вас... вы московские, и настоятель наш, игумен Гавриил, маленько московский тоже, земляки будете... вот и поведу.

— Очень рад, — говорю, — с благословения вашего, батюшка, и пойдем... — стараюсь я попасть в монастырский тон, — и чувствую, что выходит нехорошо.

О. Антипа машет на меня:

— Да нет, не иеромонах я, не достоин благословлять... монах я простой, гостинничное послушание несу. Тлен, понятно, и греха много, а нельзя обители без хозяйства... вот и хозяйствуем.

После, поприглядевшись к нам, о. Антипа немного приоткрылся, и я понял, что тут не послушание только, а подвиг, и трудный подвиг: о. Антипа поборол искушение: искушение, как он говорил, «принять наитруднейший подвиг».

— Какой я иеромонах буду, ежели все среди мирян в гостинице пребуду? Либо иеромонах, либо гостинник. А я попривык к делу. Ну, милостив Господь, потерпит грехам моим.

Он надевает подрясник побелее и ведет нас, «московских — диковинных», к святым воротам, к сердцу обители, к собору.

IV. — У о. НАСТОЯТЕЛЯ. — ЧУДЕСА.

Мы проходим в монастырские ворота, которые называются — святые: над ними церковь Петра и Павла. Дальше — еще ворота. Говорю: «как в крепости живете!» О. Антипа не понимает будто, и говорит с улыбкой:

— Пустынножителям всегда надлежит в крепости пребывать. А, про камни вы разумеете... Это дело хозяйственное, строено на века. А на врага у нас крепость — Крест Господень. От врага камнем не оградишься. Крестом да крепостью духа ограждаемся.

Проходим еще ворота, и открывается «монастырский двор». Справа — великолепный собор Преображения Господня. Какой лучезарный свет! какие синие купола в лазури, золотое крестов блистанье! Всплывает, от детских лет: «Лик Его был как солнце, и ризы белы, как снег». Нет, не забыл еще. Как раз

об этом рассказывал на экзамене, когда поступал в гимназию. И вот, тоже 7 августа, как тогда, — такой же солнечный день, с северной крепкой свежестью — и вижу, как и тогда я видел, Преображение Господне. Только тогда был Горкин, рассказывал про «трех Спасов» [1]) и утешал: «не робей, впустят тебя в училищу». И вот, «впустили», и вот уже я студент... Милого Горкина уже нет на свете, но вот почти такой же, такой же русский и ласковый, — о. Антипа. И говорок его чуть похожий. Только не говорит — «милок».

— А теперь, милые, проведу вас благословиться к о. игумену Гавриилу. Добрый он, не бойтесь, благословит на доброе пребывание.

«Не бойтесь»... Словно, бывало, Горкин: «ты не робей, впустят».

Слева, против собора, блестит на солнце широкое застекленное крыльцо — вход в настоятельские кельи. Послушник, в белом подряснике, поклоном, молча, встречает нас. Чисто, крашеные полы, ковровые «дорожки», фикусы в кадочках, огромная лапистая арма. О. Антипа подходит к арме, снимает пальцем капельку с широкого копьевидного листа и говорит шопотком, благоговейно:

---

1) См. «Лето Господне»: — Яблочный Спас.

— Господом указано цветку сему возвещать погоду: как начинает п л а к а т ь — жди дождичка. Сию арму еще о. Дамаскин садил.

Потолок — сводами; по белым стенам — картины, — разные виды валаамские, труды наезжих художников, дар за гостеприимство. А вот, на портрете в раме, — суровый хозяин Валаамский, великий устроятель, о. Дамаскин покойный. Чтут его на Валааме крепко. Куда ни пойди — везде наткнешься на дела рук его и железной воли: мосты, дороги, кресты гранитные, канавы, обложенные камнем, водопровод... Возле высоких старинных часов в футляре, мерно отсчитывающих неспешное время валаамское, стоит смиренно старушка-богомолка, в лиловых лапотках. И ее примет владыка валаамский? Всякого принимают тут: «нет у нас зрения на лица».

— Понятно, каждому свое уважение... — шопотком говорит о. Антипа. — Ина слава солнцу, ина слава луне... Ну, ее после примет, а вас я наперед проведу. Надобно мне к гостинице поскорей, да и московские вы, на вас слава далекая, а дальнему особое уважение — почет.

И серый глазок его смеется. Я спрашиваю про бледного послушника, у двери, опустившего голову в печали, — почему он такой, приговоренный.

— А провинился. Это место, у притолоки, — для горького покаяния. Вот и ждет послушания себе. Вы уж на него не смотрите, он и без того сокрушается. Не велик грешник... так, маленько чего ослушался.

Из соседней комнаты выходит настоятель. Старушка хочет к нему приблизиться, но о. Антипа ограждает: — «Не лезь первая, тут покажи смирение, — там зато будешь первая. Ты уж другажды добиваешься, я тебя знаю, а мы в первый раз».

Игумен Гавриил — настоящий властитель валаамский; высокий, крепкий, с умным взглядом добрых и светлых глаз. Говорит неспешно, плавно, видимо — думает, пойдет ли к делу. Благословляет нас. Провинившийся послушник земно кланяется ему и становится ждать у притолки. О. Гавриил удостаивает нас чести: приглашает на чай, в гостиную. О. Антипа доволен, ласково мне мигает, словно хочет сказать: «говорил — не бойтесь!»

Мебель гостиной — старинная, красного дерева, тяжелая; стол овальный и опять — высокие часы с курантами: помнить надо — «время пению, молитве час». Над столом картина Шишкина, писанная художником в море, «за две версты». Святые острова, дремучие леса на скалах и белый монастырь, бла-

гословляющий крестами; скит Никольский, скит Всех Святых, и над водами — чайка.

— Знаменитый Шишкин это — говорит о. игумен, — во славу Божию здесь трудился. Художники нас не забывают, любят природу Божию. У нас и свои художники, весь собор сами расписали. У нас и школа живописная. Все посмотрите, и святыни, и мастерские наши. Из Москвы-вы... А Донской монастырь вы знаете?

Господи, Донской!.. Там похоронен мой отец... и Горкин. О. игумен учился там:

— В духовном училище там учился, Москва — родная мне.

И грустно улыбнулся, вспомнил.

— Благословляю вас, посмотрите все. И на лошадке можно, куда подальше. И на лодке, и на нашем пароходике, по скитам.

Мы получаем благословение — «на все благое». Это здесь очень важно. Здесь без благословения ни шагу, строго.

Перед нами — собор Преображения Господня, уходит в небо высокой колокольней. Тридцать и три сажени! Синие купола горят. Гранитные колонны в окнах, и у крыльца. Гранитные кресты на камне. Все опоясано гранитом. Строено на века. И все построили монахи, сами. Не верится.

— Все сами?! — спрашиваю проводника-монаха.

— Работа братии, — ответствует он смиренно.

И я вспоминаю, как часто говорилось: «монахи — тунеядцы»! Да как же так? «Все, до последнего гвоздочка, сами». «Бог помог», «для Господа трудились». И все без похвальбы, смиренно. Чудеса!

Входим в законченный нижний храм, — здесь престол преп. Сергия и Германа. Колонны, своды, стены — в узорах, в херувимах. На голубоватом своде — звезды. И это са-ми? все? Работа братии. И этот иконостас, резной, розово-голубой и золотистый, — сами? Господь помог.

— А иконы..?

— Работа братии.

— А... кресты на куполах?..

— Здесь лили. Из братии трудились... — смиренно ответствует монах, перебирая четки.

Поют старинным, «знаменным» распевом, — валаамским. Слышится мне народное, п р о с т о е, трудовое, — и грусть, и вскрики. И голоса — простые, простонародные. Слышится мне родное: певали так артелью, у нас, бывало... Мне нравится.

В колоннах, справа, — серебряная рака,

«спуд». Мощи Преподобных, Сергия и Германа, — под спудом. Монах поясняет скупо: лет семьсот тому, из Нова-Города вернулись Преподобные «на родину»; от шведов увозили мощи, дабы не надругались «лютеры», и вот, «глубоко», под спудом почивают. Мы преклоняемся, прикладываемся к ликам на серебре. Поют молебен. Недалеко от раки — схимонах. Укрылся схимой, лица не видно. Я с содроганием смотрю на схиму: шито белым по черному — крестики, слова, — молитва? — череп, кости... Чтобы о смерти помнить? Вспоминаю: «человек, яко трава дние его...» Не понимаю, но... узнаю? Заговорить бы..? Но схимонах недвижен, весь — в ином. Схимонахи... кто же? Я, студент, этого не знаю. Для чего — не знаю. Или — знаю? Как-будто, рассказывал мне Горкин..? Старый плотник — знал. А я не знаю.

Верхний храм — в отделке, там леса. Провожатый неразговорчив, ведет нас в сети перекладин, охраняет: «вниз не смотрите, тут опаско». Идем несмело. Расписывают стены, висят на тоненьких дощечках, — жуть. Старый, худой монах, весь в краске, с кистью, поясняет:

— А это фарисеи... носы-то ишь у них какие... горбатые! А это — притча...

И начинает объяснять нам притчу.

— Да они учены, говорит монах, все при: чи знают. — Ты, о. Федул, своди-ка их на колокольню, про колокола скажи, а притчу они знают, ученые. Мне к тебе велено свести, с рук на руки отдать.

— Уче-ные — оглядывает нас о. Федул. — — Ничего ученые не знают! Ученые и Господа не почитают. А вы, Господа почитаете? — спрашивает он нас, в упор и строго.

— Ну, о. Федул... смущенно говорит наш провожатый, — тогда зачем же к Преподобным они приехали!

— Вы не обижайтесь... — говорит о. Федул, и во взгляде из-под седых бровей я вижу пытливое сомненье. — Много ученых нонче, кои Господа не почитают. А что апостол-то говорит? Где умные и разумные, а? где совопросники века сего, а? На Страшном Суде ответят. Ну, пойдемте на колокольню, Господь с вами.

Идем за ним. Чувствую я, смущенно, что есть и некая правда в словах о. Федула. Идем по широкой гранитной лестнице. Навстречу попадаются монахи, в рабочих рясках, с шайками извести и кирпичами. В первом пролете — громадный колокол.

— Ты-ща пудов! — говорит о. Федул. — «Андреевский», за полсотни верст, в Корелах слышен. Апостол Андрей Первозванный сам

сюда приходил и Евангелие изуверам возвестил. И «во всю землю изыде вещание и в концы вселенные глаголы его». А звон у него ма-а-линовый! А что Исаия пророк говорит? Ну... вы, ученые, ну! Вот и не знаете. «Да воздадут Господу славу и хвалу Его на островах да возвестят». Вот и возвещаем на островах.

Виден весь монастырь, пролив, пароходик «Св. Николай» у пристани, сверкающая на солнце Ладога.

— На сем колоколе чудо сказалось!

— Чудо?..

— Вера горами движет. В отсечении воли мы, и что возвещено нам — исполняем, аще ли даже и не разумеем, а по вере все нам дано есть!

Сказав это, о. Федул перевел дух и посмотрел на меня, как бы говоря: понял, уче-ный?! Я не понял.

— Чудо не чудо, а и чуду не уступит. У нас каждого к делу приставляют, на послушание. Да мужички у нас больше земельку знают, а по мастерству уж Господь наводит. Вот и о. Леонид, в кузнице был. То был литейщик, а тут и возревновал. Пошел к о. игумну и говорит: «мало мне работы в литейной, благослови, отче игумен, в кузнице поработать». О. Дамаскин и благословил: только не возгор-

дись! — сказал. А тут и привезли этот самый колокол из Питера, ввезли на гору, поставили у часовни. Надо его теперь пока на столбы привесить, собор и не начинали класть еще. А хозяин кузницы заболел, в больнице лежал. Вот игумен Дамаскин и посылает казначея к о. Леониду:«возвести ему, чтобы сковал восемь хомутов, колокол, чтобы на столбах держали... он у меня сам на это дело напросился». Пошел казначей к о. Леониду и возвестил. А тот только гвоздочки ковал, учился. Убоялся, заплакал: не смею такое послушание принять... не токмо что ковать хомуты, а и видать-то не видал, каки и хомуты бывают». А колокол большие деньги стоит, — ну, сорвется с плохих хомутов... какой раззор-то! Ну, возвестил казначей игумену. «Иди, говорит игумен, возвести о. Леониду, благословляю я его». О. Леонид в ноги казначею, слезами обливается... — «не могу послушания принять, недостоин я!» Ну, опять благословил его батюшка Дамаскин: «иди и возвести: сам возревновал, пусть и орудует... благословляю я его, скует хомуты, Господь поможет!» И что же думаете!.. — воззрился на нас о. Федул, — просветление на него нашло, сам рассказывал, — такие-то расчудесные хомуты сковал..! Самые мастера потом дивились.

Под нами вились стрижи, кружились округ

крестов, влетали в просветы колокольни. Мы поднялись на последний ярус.

— На скиты-то гляньте, где наши схимонахи обретаются, в лесах живут, как звери полевые, хвалу Господу воздают.

— И молчат?..

— И молчат... а что? Потому — воли отсечение. Молчи, — и молчит. В Предтеченском скиту схимонах Василиск другой год молчит. И больше промолчит... и со-рок лет промолчит! Сколько благословит игумен — до срока и молчать будет, и в радость ему это. А слыхали про схимонаха Иоанна, на острову жил? Любил он, как я вот, грешник, с добрым человеком поговорить. А у батюшки Дамаскина покойного все на виду. И задумал послушание его испытать. Призвал — и говорит: «считай себя недостойным с людьми говорить, молчи! разрешаю тебе с Господом беседовать, да, когда придется, со мной али с духовником». Да 14 лет так-то! А потом, чтобы смирение его пуще испытать, и возвестил: «недостоин ты такой подвиг нести... говори, как и обычно». И заговорил, и не возроптал. Ну, а у вас есть такие?

— А зачем все это? — не понимаю я.

— Ученые, а не разумеете. Да я не в осуждение, Господь прости. Да как же мы с самым страшным врагом бороться можем, ежели

волю свою не скуем? Все на приказе, все на самоусечении стоит, когда Господу служим, а Он по пути ведет. Грех Адамов из чего исшел? Из непослушания. Так и всякий грех на земле. Тут у нас кузница божьих деток, святых работничков... во славу Господа, и для жития земного устроения. Будут времена горшие, и тогда восплачем. Ну, выше еще полеземте.

Над нами был самый последний ярус, «непроходимый», — сказал так о. Федул, — «зрящая труба». Оттуда в подзорную трубу следит приставленный к послушанию, когда нанесет туман.

— Можно, брат Ляксандра, ученых этих туда подать? — спросил о. Федул брата — «назирающего» за Ладогой: блуждают в тумане корабли, а «назирающий — смотрит, и как завидит в тумане искру, — велит звонить.

— Не смею, батюшка... — замялся несмело послушник, — о. игумен только меня благословил. Коли возвестит — пущу.

О. Федул похвалил послушника.

— Упражняйся, брат Ляксандра. И знаешь, что трубе ничего не сделается, а нельзя, ежели нет благословения.

— Хорошо здесь, какая красота — даль!

— Стой и зри, коль красна вселенная! —

согласился о. Федул. — Да о душе-то помни, пекись о ней. Сказано: не прилепися к сокровищу. Во-он, — показал старик на лесные дали, — скит Всех Святых. Там у нас схимонахи есть. Вон Предтеченский, тоже схимонах живет. А во-он, чуть видать, Коневский, тоже схимонах обертается, о. Сысой, прозорливец. А вон, и Ляксандра Свирского. Вся тут, пустыня наша. Леса темные, кресты гранитные, церковки среброглавые, святые места. Тишина у нас, покой душе. А который человек с воли, дух в нем и ходит непокойный, и нет мира в костех его.

— Да вы философ, о. Федул! — пошутил я.

О. Федул поглядел с сомнением: незнакомое слово его смутило.

— Ишь вы чего сказали! По вашему, может, и обидно, а мне что... суемудрия не приемлю. А почему вы такое слово сказали? А потому, что дух суемудрия в вас мятется. Ишь, высь какая! Вам, небось, и глядеть-то страшно, а у нас, повыше еще, монашек кумполок красил да молитвы пел. А старичок, за шестьдесят ему было. Ветром его, словно на озере, об кумполок раскачивало-потукивало, а он — «Царю Небесный», да пел-то как!.. А почему? Благословение, воли отсечение. Лезь, о. Анфим! — возвестил игумен, — он и лезет, и молитвы поет. А тридцать три са-

жени!.. Вон, братия из храма пошла, трапезовать час пришел. Ну, пойдемте, заговорил я вас.

Мы стали спускаться с колокольни.

V. — В ТРАПЕЗНОЙ.

— Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас...

Брат Василий вносит обед.

— Я уж на одну персону только принес. А вам о. Антипа послушание назначил, — с улыбкой говорит он мне, — в трапезную пойти. Там у нас чинно, под жития вкушают.

Я не понимаю, спрашиваю его: что это значит — «под жития»? — Все вкушают, а очередной чтец читает про «жития». Это, чтобы вредные мысли не входили. Пища молитвой освящается, тогда и питание на пользу. Никакой чтобы заботы в мыслях.

Я удивлен: как раз и в физиологии это говорится, — читал недавно «Физиологию» Льюиса. Оказывается, и монахи знают.

Я говорю брату Василию, что об этом и в науке говорится, чтобы принимать пищу в полном спокойствии, без раздражения. Он

глядит на меня с сомнением, не подвох ли в моих словах.

— Вашу науку мы не знаем, а святые отцы так установили, из древних лет. Такой наказ есть, старца Назария Саровского: «вкушать молча, как бы какое священнодействие совершаешь».

— Это называется — физиология питания! — говорю я.

— А по-нашему наказ старца Назария, — говорит упрямо брат Василий, — чтобы хлеб насущный не осквернять дурными помыслы. А для женска пола, для их персоны... — показывает он на мою жену, — трапезная при гостинице у нас. Но для них чина не полагается, без «житий» вкушают.

— Вот это грустно, — говорю я. — А если дурные помыслы? Несправедливо оставлять женский пол без охраны от искушений.

Брат Василий чувствует мою шутку и улыбается. Говорит, что наказ для братии установлен, но и в женских обителях, говорят, тоже под «жития» вкушают.

Далекое, наивное: милый простак, просвещавший меня духовно, — и я, юный студент, учивший его ученой мудрости.

Я иду в трапезную палату. Она в монастырском четыреугольнике, против ворот, при

церкви Успения Пресвятой Богородицы. Встречается о. Антипа, несет корзиночку. Я заглядываю в нее и вижу: крупная красная смородина! Это изумляет меня, как чудо. В Москве она отошла давно, там и малина уже сошла, а тут — снова вернулось лето. О. Антипа достает кисточку, показывает мне и сам любуется: смородина сочно сквозит на солнце, — живые яхонты!

— Крупная-то какая, будто клюква. На праздник Преображения Господня десять пудов собрали, а это остаточки, благословил о. настоятель на трапезу, в гостинчик. Сады-то наши не видали еще? Посмотрите. Все монах Григорий, великим тружением своим. Через него и смородинка у нас и яблока сколько собираем, и слива есть, и вишня, во славу Господа. Двадцать лет на себе землю таскал, сыпал на голый камень, на ржавую луду, а теперь вся братия радуется, и богомольцев радуем. У нас даже восточная травка произрастает.

— Это какая же... восточная?

— А как же, неужто не знаете... ис-соп! Царь Давид в псалмах как взывает?.. «Окропиши мя иссо-пом... и очищуся...» На Востоке он жил, вот и восточная, потому. Сходите вкусите с братией, поучения послушайте, и во здравие питание вам будет. Сами потом

скажете, вкусная какая ваша пища. С молитвы такая, вкусная, освященная.

Я вхожу в трапезную. Длинная, невысокая палата, своды. Вижу длинные — длинные столы, простые, непокрытые, и на них, чинными рядами, миски, светлые липовые ложки, белые ручники, холстинные, накрывающие попарно миски, — все ровными-ровными рядами, — солоницы, оловянные уполовники, приземистые широкие сосуды — чаши, будто из тускло-старинного серебра, налитые бордовым квасом, с плавающими, как уточки, ковшами, темные ломти хлеба, и эти белоснежные ручники — холстины, похожие на крылья чаек... — так мне напоминает былинные «бранные» столы и что-то близкое и родное мне... — рабочие праздничные столы нашего старого двора в далеком детстве? Пахнет густо и сладковато-пряно, — квасом и теплым хлебом. Вдумчиво — сокровенно смотрят с пустынных стен — благословляют преподобные подвижники, в черных схимах.

Молитву уже пропели. Братия сидит чинно за столами, в глухом молчании. Чувствую я смущенно, как испытующе смотрят на меня, такого невиданного здесь, в серой студенческой тужурке, в золоченых пуговицах с орлами, отыскивающего себе местечка. Кто-то мне шепчет строго: «подале, подале, за бра-

тию... богомольцы там, во второй палате». Я прохожу рядами темных, немых столов, взирающих в строгой тишине, и нахожу местечко — рядом с бедными старичками-олончанами. Против меня сидят притихшие питерцы — извозчики, ехавшие на пароходе с нами. Они знакомо моргают мне, как будто хотят сказать: «здесь, брат, не поговоришь... стро-го здесь!» За старичками — олончанами сидит тощий монах, глядит на пустую мисочку, не поднимая глаз, и, кажется мне, тоже говорит в молчаньи: «да, строго здесь».

Вдали, в первой палате, за головным столом, перед самым иконостасом, кто-то властный звонит резко — тревожно в колокольчик. И сразу, как по команде, встают от столов прислужники и идут в поварню за кушаньем. Перед иконостасом какой-то инок истово — чинно крестится и кладет земные поклоны. Я спрашиваю тощего монаха, почему это кланяется инок, а не сидит со всеми. Монах не отвечает. Знакомый питерец опасливо говорит: «провинился, надо полагать». Тощий монах шепчет, не поднимая глаз: «за трапезной у нас молчание полагается».

Прислужники вносят оловянные мисы с кушаньем, ставят их на столы рядами, одну мису на четверых, и теперь видно мне, как вытягивается по столам оловянная полоса —

дорога, дымится душистым варевом. Начинается хор нестройный, что-то молитвенное, как-будто. Это прислужники возглашают вполголоса, ставя мисы: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас». Старшие за столами ответствуют им — аминь.

Трапеза начинается. Возрастает немолчный шорох, благостно-сдержанный, — плесканье, звяканье; взмывают белые ручники, варево льется в миски, мелькают ложки, темнеют куски хлеба, склоняются чинно головы. Кажется мне, что совершается очень важное. Звучный, напевный голос вычитывает с амвона «житие» дня сего. Инок перед иконостасом все так же кладет поклоны.

Я вслушиваюсь в шорох, в мерное, углубленное жеванье сотен людей, и приходит на мысль не думанное раньше: какое важное совершается! Я как бы постигаю глубокий смысл: «в поте лица твоего будешь есть хлеб твой». Впервые чувствую я, забывший, проникновеннейшее моление: «хлеб наш насущный даждь нам днесь». Смотрю на старичков — олончан, как благоговейно — радостно вкушают они этот хлеб насущный... не едят, а именно, вкушают, как дар чудесный... не услаждаются, а принимают молитвенно, чинно, в смирении... — и думаю: «как это хорошо! и это не простое, не оби-

ходное, а свяшенное что-то в этом, возносящее, освящающее человека!»

И вспоминается мне далекое, ушедшее.

В детстве, Горкин мне говорил, плотник наш: «кушай, милок... это хлебушка наш насущный, заработали мы его с тобой... крестись, на хлебушку всегда креститься надо, дар Господень». Тогда и я вкушал — и с каким же благоговением! — кислый рабочий хлеб, с плотниками, в артели, и необыкновенно сладок был этот «хлеб насущный», забытый в детстве. И вот, воспомнился, отозвался здесь, на Валааме, в иной артели — тех же русских простых людей, рясой прикрывших свои рубахи и трудовые плечи, только людей особых, отобранных, собравшихся с сел и полей российских, во имя Божие, — «идейно», как я говорил тогда. «У нас мужички все больше», — помнились мне слова о. Антипы.

За нашим столом трапезуют богомольцы, больше простой народ, и даже нищая братия, и эта нищая братия ест из такой же миски и такой же ложкой, липовой, с благословляющей ручкой на стебельке, как и о. настоятель, блюститель трудового, святого Валаама. Старички — олончане, в заношенных сермягах, благолепно — старательно хлебают густую перловую похлебку и озираются.

Кажется мне — не верят, что они **равные** здесь, — кажется, что боятся: а ну-ка, скажут — «ступайте-ка отсюда, не вам тут место!» Нет, не скажут. Тощий монах ласково говорит им: «ешьте, братики, на здоровье, во славу Божию», — и еще подливает им похлебки. Они смотрят несмелыми глазами и крестятся.

— Не часто, небось, приходится так обедать, — шопотом говорит питерский извозчик, показывая мне глазом на старичков, — бедный народ, эти олончане да корелы, рады, — до чистого хлеба дорвались.

— В рай попали... — шепчутся старички и крестятся. — Уж так-то сытно да сладко... И слова никто не скажет.

Вижу других, таких же, с истомленными лицами, в заношенной одеже, робко взирающих, прислушивающихся к напевному голосу чтеца: «богатый в питиях и яствах пребывает, а о бедных и о душе забыва-ет...» Слушаю я, смотрю на нищую братию, и закипает в сердце. Думаю привычно, по студенчески: «этого не знает Бебель... это тоже социализм, духовный только... приехал бы сюда, монахи наши могли бы внести поправки в его социальную систему...»

Миски меняются. За перловой похлебкой приносят мятый картофель с солеными гри-

бами. Старички ужасаются: все несут! Ставят новую мису: щи с грибами, засыпанные кашей.

— Ешьте, братики, на здоровье... еще подолью, шепчет тощий монах, — поправьтесь на харчиках Преподобных Сергия и Германа. Они тоже были, как мы с вами, работнички... долю вашу знают.

Кажется, и конец трапезе. Нет, ставят еще прислужники: каша, с постным маслом.

— С маслицем никак... Го-споди-батюшка!.. да еще с духовитым! -- изумляется старичок, принюхиваясь к ложке, — за что такая милость... да с елейным..!

И вот, разносят на оловяных блюдах чудесную красную смородину, взращенную на валаамском камне великими трудами неведомого инока Григория.

— А это уж баловство-о... — говорит питерский извозчик, радуясь.

И старички ухмыляются, любуются на смородину, как дети на конфетку, пошевеливают несмело пальцем: да уж есть ли. Посматривают на квас в чаше и робко спрашивают монаха: кваску-то можно?

— Да сколько охотки будет, — говорит монах, зачерпывает ковшом и подает.

— У-у, ква-сок... дю-же хорош квасок... — говорит, задыхаясь, старичок, передавая

другому ковшик. — Знатный квасок... забыли, когда и пили такой квасок...

Трапеза заканчивается пением благодарения «за брашно». О. настоятель благословляет, братия чинно кланяется и отходит по келиям. Инок у иконостаса продолжает класть земные поклоны. Я спрашиваю знакомого монаха, почему инок не обедал, а молился.

— О. игумен так возвестил. А за провинность, смирение его испытует, в послушание ему и возвестил, поклончики класть. За трапезой, у братии на виду. Это уж для смирения, такое послушание.

— Да за что же т а к о е испытание, на всем народе?

Монах вздыхает.

— О. настоятель возвестил, для назидания всем. Вот, говорите — испытание, на всем народе... будто для стыда. В радость ему это, что на народе, будто покаяние принимают от него все. И никто не осудит. Наша воля у Господа..

Я выхожу из трапезной. Богомольцы идут вздремнуть. Кто отходит к решетке, поглядеть на просторы Ладоги; кто спускается к пристани, посидеть в холодке, в ожидании часа, когда можно будет попить чайку, — раньше половины 3-го часа не полагается.

На пороге гостиницы о. Антипа встречает

меня, раскинув руки, словно обнять хочет, — чудесный старичок, право.

— Ну, что... посмотрели, как у нас трапезуют?.. понравилось?

— Чудесно, о. Антипа! И как трапезуют и как поклончики отбивают...

— Ах вы, шутник, право... смеется о. Антипа. — Смирение — путь во спасение.

— Знаете, о. Антипа... — говорю я, чувствуя, что не могу не сказать самого важного, что переполняет сердце, — я вам так благодарен, что возвестили мне послушание...

— Нет-нет... — остерегает о. Антипа, — недостоин я возвещать... это только о. игумен, по уставу. Да это я шутил, послушание-то... Понравилось — и слава Богу.

— Узнал у вас самое важное, самое глубокое... понял, как вкушают хлеб насущный... и что такое... вкушать!

Понял ли меня о. Антипа? Он взглянул ласково и потрепал по плечу.

VI. — НА КЛАДБИЩЕ. — САДЫ. — О. НИКОЛАЙ.

На высокой скале, над «Монастырским» проливом, покоится старое валаамское кладбище. Так и сказал нам кто-то из монахов: «покоится». Отделяет его от святой обители каменная белая ограда. В обители глухая тишина: дремлет Валаам под усыпляющий шепот сосен, под всплески Ладоги; а здесь уж не тишина, а глуше и глубже тишины: покой. Так и подумал тогда: «могильная тишина». И стало понятно мне книжное это выражение. Старые клены, липы, в золоте и багрянце августа, роняют листья на бугорки-могилки, поросшие травою. Весь Валаам из камня, много гранита и мрамора у него, но не видно надгробных памятников. Не любят иноки валаамские надгробий: память — богоугодное житие. У Господа — все на памяти. Круглые камушки на травяных бугорках кой-где.

«Послушник Василий. Преставился лета 1871, апрелия в 26-й день, 23 лет от роду», — читаю я на круглячке могильном. Кто он, откуда родом, зачем пришел на это глухое кладбище в такие годы? «Меня еще и на свете не было, а уж он...» — пробегает в душе печалью, и заливает радостное сознание, что я жив, молод, а впереди... сколько же впереди, всего! Я смотрю на мою жену, юную, как и я, и говорящие глаза наши встречаются в одном чувстве: какая радость, и сколько же впереди — всего! Нам тесно на этом кладбище. Уйти бы... Но провожающий нас монах смущает: сразу уйти неловко, надо взглянуть «на схимонахов».

Вот, вдоль дорожки, под тенистыми кленами и липами, лежат голые каменные плиты. Все одинаковые, — как и те, что лежат под ними. Это могилы схимников, обитателей дебрей валаамских, скитов, пустынек. Одиннадцать их покоится, молитвенников, подвижников, молчальников. Самому старшему 95 лет. Я знаю, что все эти подвижники — отдали свои жизни на служение «идее», что все они люди могучей воли, но непонятно мне, юному, студенту, зачем оставили они жизнь и близких, ушли в леса. И что же от них осталось! Только надгробные плиты да «жития». Я говорю монаху. Он вздыхает.

— Как можно... — говорит он, — а сколько же людям утешения от них было! А в Евангелии у Господа как написано? Да оставит тленная мира и возьмет крест свой и по Мне грядет. Благое иго избрали себе. Как же так — для чего! Вот я вам скажу, какое дело. Вы как же душу-то, за пустяк принимаете? А в ней все дело, ее сохранить надо, воспитать для вечной жизни, как ей назначено, в приуготовление. Как так, не можете понять? Нет, вы над душой подумайте. Вот послушайте. У нас здесь глухо, а всетаки народ доходит до самых глухих пустынек, до дебрей самых, желает от святого человека-подвижника благословения и молитвы... душа его желает. Вот один схимонах у нас и возревновал, надумался, в соблазне: надо мне душу спасать, очищать, а тут мне развлечение от людей. А жил он на дальнем островке, туда раз в год к нему народ добирался, требовал утешения. Он и возревновал: хочу совсем от мира отрешиться. И вот, глядите, какое произволение над ним, какое ему было указание. Значит так, будто подвижник ты, а про малых сих памятуй. И вот, благословился у о. игумена, у настоятеля, и ушел в пермские леса, в самую глушь глухую, где только одни медведи проживают. Ушел в Пермский край. В лес глубоко забился, поставил себе келей-

ку, вроде канурки в ямке, землей прикрылся-пришипился, и живет, молитвы правит. И было ему первое предостережение. Пошел она на ключик, водицы взять, приходит в свою пустыньку, а шалаш его весь разметан, и сидит на пеньке медведь, будто. Ну, он убоялся того медведя, схоронился в кусты. Ну, медведь посидел — ушел. Поправил свою келейку отшельник, опять молиться стал. И уж тут, будто тот медведь, подумаешь-то, дорожку к нему и указал: пришли к келейке страждущие, ищущие утешения, стали досаждать ему нуждами, совета-благословения просить. Он еще дальше ушел, в самую-то разглушь глухую, оградой оградился, ставенки к оконцу навесил... — и туда дорожку к нему нашли. Станет он на молитву, а в ограду-то стук-стук народ ломится, через ограду перелазят, в оконце стучат, утешения-благословения просят. Тут уж ему и открылось: сколько же горя непокрытого кругом, жалко народа стало. Может ему Господь на мысли так послал. А он-то — схимонах простой, не иеромонах, не может благословлять, не в праве, благодати несподоблен. Уж тут ему даже горько стало, так проникся слезами приходящих. И вот, во снисхождение мирской скорби и ему в успокоение, разрешил ему преосвященный благословлять. Вот как

взыскуют у нас подвижников. А вы говорите — зачем из мира уходить! Для подвига, для утешения, он уж выше мира обретается, подвижник-то, души ведет... как можно! Поглядите, как к нашим схимонахам влекутся. Значит, душа желает очищения, а вы говорите — для чего такое. Нет, недаром они на подвиге стояли. Поживете — узнаете.

Пожил я — и узнал, многое узнал. И как бы хотел теперь, через десятки лет с того августовского утра, найти крепко на подвиге стоящего, отрешившегося от всего земного, — благословиться. Где Россия, творившая светлых старцев, духовников народных? Есть ли они теперь, на новом Валааме? Сердце мне говорит, что есть, в необъятных родных просторах, неявные, может быть прорастающие только в великом народе нашем. Придет время, — и расцветут редкостные цветы духовные: Господний посев не истребится.

Тут же, у плит, из пня столетней липы мудрый монах устроил кресло, дабы пришедший сюда присел отдохнуть возле этих одиннадцати подвижников, поднявшихся над суетою мира, и поразмыслил над бренностью преходящего. Мы присели. Желтая бабочка покачалась на стебельке, выросшем из плиты, и полетела, порхая, за ограду. Падали бесшум-

но листья кленов, ровно плескала — вздыхала Ладога под скалой, медленно проплывали облачка... — все говорило о движеньи, о времени, ускользающем... куда?

На краю кладбища — длинная, травою обросшая плита. Говорит на ней каменная надпись, что покоится здесь... король! Невероятно. Магнус II Смек, краль Шведский: «быв в короне, и схимою увенчался». Был такой, но едва ли бывал на Валааме. А может быть... Жизнь творится легендами, творит легенды.

Высокий гранитный крест осеняет покой отшедших, — схимонахов, монахов, трудников: «Со святыми упокой, Христе Боже, раб Твоих...» У его подножия — аленький запоздавший мак, в росе еще. Жена робко его срывает, — можно ли... здесь? И, взявшись за руки, с облегчением мы выходим за ограду, на вольный воздух.

По краю скалы — чугунная решетка. Внизу, глубоко, — пролив. Солнце ярко горит, плющится на волнах, слепит. Скалы на той стороне пролива не так угрюмы, лес на них в солнце, повеселел. Видно, как бредет там берегом, по камням, монашек с берестяной корзинкой, сходить по-грибы благословился, для братии; красная лодочка с монахами-гребцами плывет к островку в Проливе. А вправо — вольная Ладога, спокойная. Редко

вспыхнет на ней барашком сизая волна, плеснет на камни у Никольского островка. Скит на островке — пустыня, ни единой не видно ряски. Прямо, против него, на той стороне Пролива, как другой страж безмолвия лесного царства, светится над островерхими елями солнечным золотым крестом среброверхая колокольня Большого Скита — Всех Святых.

Я гляжу вниз. Под скалой раскинулись монастырские сады, а по самой скале тянутся могучие клены, шелестят под ногами у нас вершины, багряные и золотые. Нет земли под ногами, а каким-то чудом висишь над океаном листьев. За краем его, внизу, — сады. Слава трудников Валаама, слава — чудо. На камне, — л у д о й называют на Валааме этот камень, — взошли сады. Правильными рядами идут раскидистые яблони, груши-дули, сквозные вишневые деревья — радость. Вон и любимые ягодные кусточки смородины и крыжовника, взятые чинно в жерди, — видно отсюда даже блистающие грозды ягод — сквозные яхонты красной смородины, тяжелые сережки крыжовника. Прижавшись к скале гранита, чернеет деревянная беседка, вся в зелени, в черемухе, в сирени и жасмине. Весной-то какая красота!..

— Садиком любопытствуете? — спрашива-

ет старичок-послушник в скуфейке. — Да, по весне рай у нас. Соловушки, ангельское дыхание воздухов, цветики Господни. Голову даже заливает, не отойдешь. Яблока у нас на весь год братии хватает. А какая антоновка..! На Благовещенье моченым яблочком утешаемся. А с чайком-то заваришь... И подумайте то: ведь на камне произрастание красоты такой! Двадцать лет трудился тут монах Гавриил, землю таскал на луду плешивую, все сам насадил. А вон, поправей, у моста через овраг, другой сад. Там у нас лечебные травы произрастают. Там на каждой яблоньке, может, десятка по два сортов родится трудами о. Никанора премудрого. Награды имеем за яблочки, медали золотые. А цветов-то сколько, какие и — аргины, и... чего-чего нет! Иконы убираем, и Крест Животворящий, на Воздвиженье, и на хоругви, на крестный ход когда... Ли-лии произрастают даже, белые, чистые, вот архангел-то Гавриил пишется, с ли-лиями... самые такие, все трудами. У нас по озеру в июнь-месяце льдинки еще похаживают, а уж сады цветут — благоухают, дыхание ангельское тако-е... вон куда уйдешь а все слыхать, как черемуха подает себя... по всему-то монастырю, томит даже, окошки уж прикрываем, размаривает душу.

— Поедут по скитам-то? — спрашивает знакомый богомолец, извозчик питерский, ехали с ним на пароходе.

— Поедут беспременно. Вишь, пароходик-то наш дымит, пары разводят. А куда ездить изволили?

— К «Коневской» ездили, к Александру Свирскому... А теперь куда повезут?

— О. казначей возвестил, чтобы к Андрею Первозванному, часовенка там, на высоте, очень живописная красота расположения. Бывали?

— Как не бывать, мы каждый год все скиты объезжаем, завсегда уж по скитам, душу радуем. Когда еще и парохода у вас не было, так на лодках ходили, годов тому двадцать. Мы старинные богомольцы, тогда билетов этих не выбирали. А теперь по билетам, за денежки.

— А как же-с... пар-то развести надо? То на своем пару возили, на веслах, а теперь надо пароходик оправдать. А с бедного богомольца мы не взыскиваем. Кто побогаче — за него мзду и положит, вот и ладно выходит, по-Божьи. Не правда разве? А не от корысти мы. Мы для богомольца всякое удовольствие предоставляем. Стих даже для богомольца поют, монашек наш придумал.

«Пречудный остров Валаам» — называется, «обитель избранных людей».

Видно сверху, как на пристани, у пароходика, чинно расхаживают в долгополых рясках и острых шлычках, перетянутые кожаными поясами, мальчики-монашонки, отданные родителями в духовное наставление на год — другой. Ведут они себя чинно, солидно даже, как настоящие монахи. На их лицах, — присматривался я к ним подолгу, — залегла несвойственная их летам сосредоточенность, вдумчивость, сознание некоего подвига. Пожалуй и хорошо это. О. Антипа все говорил, бывало: «от святого не будет плохого, молитвами силы набирают». Невольно улыбнешься, когда услышишь, как мальчуган, серьезный не по годам, входя к вам в келью с видом смиренного брата, напевно тянет: «Молитвами святых отец, Господи Иисусе Христе, Боже наш, по-ми-луй на-ас...»

Неподалеку, вижу я коренастого старика в священнической шляпе. Он стоит у решетки и смотрит к Никольскому скиту. Загорелые кулаки его постукивают по решетке, будто от нетерпения. Оттуда, с Ладоги, приходят пароходы. Но там еще ничего не видно. — «Пароход!» — слышу я хриплый возглас, тревожный, возбужденный, и вижу, как рыжий сапог старика бьет по гранитному столбику

решетки. — «Слышите... гудит?» — тревожно говорит старик, сам с собой. Я посмотрел к Ладоге — нет никакого парохода. И услыхал: «и сегодня нет».

Я спросил: «вы ждете парохода..? вы из богомольцев?» Он махнул рукой, устало, — безнадежно, так показалось мне.

— Прислан сюда, под начал, на исправление, указом. Прошли все сроки... все жду... три года здесь...

Он говорил отрывисто и, показалось мне, раздраженно. Взглянул на нас и улыбнулся растерянно, словно хотел сказать: «видите, какое положение», — жалобно как-то улыбнулся, виновато. И я смутился: священник, старый человек и — для исправления, как мальчик! Мне было стыдно спросить его — за что же он под начал, на исправление. Но он сам начал говорить:

— Знаете, господин студент... там, ведь у меня семья, шестеро ребят, попадья горюет, поджидает, а они забыли! Далеко, под Поневежем, Олонецкой губернии, глухое место наше. Ну, провинился, каюсь, пил. Да пора бы уж... Господь простил, видит мое раскаяние. Трудно попадье, просвирней в селе стала... дочка в селе учительствует, парни мои в семинарии...

— Что же вы не едете, если пора..?

— Нет консисторского указа, да и приход мой занят. А у попадьи моей денег нету, чтобы хлопотать. Все и жду, — вот пароход придет, указ пришлют, приход дадут... письмецо попадья напишет.

Тихо, словно на колесиках подкатился, подошел мальчик-монашонок и бухнулся в ноги священнику:

— Благословите, батюшка о. Николай.

Старик истово благословил его и дал поцеловать руку.

— Что, парнишка, не скучаешь? — потрепал он монашонка по щеке. — Отец его привез, по обещанию, потрудиться на монастырь. В бабки, чай, хочется сыграть, с мальчишками подраться, а?

— Не-эт... — смиренно-грустно сказал мальчик, — греха много...

— Ишь, греха много... что говорит-то! Да знаешь ли ты еще грех-то? Грех, братец..! Господи, прости мои согрешения...

О. Николай не договорил. Загудел пароход на Ладоге и показал из-за мыса дым. В скиту Никольском, на островке, появились две черные фигурки: вышли отшельники поглядеть на вестника покинутого мира. Белый пароход входит в пролив, оглашая могучим ревом тихие леса на скалах. Подвигается ближе, ближе.. Видно темную толпу богомольцев на палубе.

Слышно, как стройно поют на пароходе, церковное, вызывая лесное эхо: ...«да воссияет и нам гре-шным... свет Твой присносу-у-у-щный...» Монахи на пристани отвечают: «...молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе». Монастырская тележка с грохотом скатывается к пристани. Монах с книгой важно спускается по гранитной лестнице. Бегут богомольцы по горе — «мир» встречать. Подходят к решетке, смотрят. Говорят:

— Отец Николай-то как побежал... весточку поджидает все.

— Хоть и попривык к нам, а на грешную волю рвется... — говорит старый послушник, — а отчего? Суемудрие все питает, в отсечении воли своея не приобык.

Нам страшно от этих слов. Невыразимо жалко бедного батюшку. Нам понятна его тоска. Мы крепко беремся за руки, идем к гостинице и взглядами говорим друг другу: нет, никогда не разлучаться! Нас встречает благовест к вечерне, вечерний отсвет на куполах, на крестах.

VII. — ТРУДЫ ПОСЛУШАНИЯ «ВО-ИМЯ». — УСТАВ СТАРЦА НАЗАРИЯ.

На высокой скале гранита — сажен тридцать — белое здание мастерских и водопровода. В нижнем ярусе — черное жерло кузницы. Входим. Как раз мальчик-монашонок набрасывает на колесо приводной ремень, и огромный машинный мех начинает выбрасывать из горна вихри слепящих искр. Мех тяжело вздыхает, сопит и хлюпает. Нам жарко стоять и у порога. Кузнец-монах хмуро встречает нас немым поклоном. Жилистые его руки ударяют мерно по добела раскаленной полосе тяжелым молотом, и за каждым сухим ударом слышится влажный подхрип. Это в его груди. Над ним золотое сиянье искр. Даже на нем, даже в его седой бороде вспыхивают и гаснут искры. Седеющие его кудри подхвачены ремешком, волосатая грудь раскрыта, на ней черные струи пота. Это «хозя-

ин» кузницы, о. Лука. Ему, пожалуй, к шестидесяти годками, а он с утра и до вечера с железом, огнем и молотом, — трудится послушанием во имя Божие, во славу Валаама. А нам страшно стоять и у порога. Тут и литейная. Закопченный монах возится с лампочкой-коптилкой, формует в черной земле отливку. Даже не видит нас.

— Нам не надо надсмотрщиков, — говорит провожатый-монах, — для Бога работаем, а Бога не обманешь. Ревнуем во имя Божие.

Пораженный, я думаю: «здесь ни борьбы», ни «труда и капитала», ни «прибавочной ценности», одна «ценность» — во имя Божие. Во-имя, — какая это сила! Там — во имя... чего? А эти, «темные», все те вопросы разрешили, одним — «во-имя».

Осматриваем лесопильню, баню. На втором ярусе — слесарная, токарная, сверлильная, точильная, сушильная... — и всюду кипит работа, всюду визжат станки. И всюду — они, «темные»: послушники, монахи, трудники.

— Бог в помощь! — говорит провожающий нас монах, входя в новое отделение мастерских.

Никто и не посмотрит, работают. Только монах-хозяин молча поклонится. Стоят у станков и богомольцы: пришли «Бога ради», по обету, — потрудиться на монастырь. Кто

они? Питерские рабочие, «все превосходные мастера-специалисты». Глазам не верю: питерские рабочие... мастера!? А как же, все говорили т а м... на сходках в университете, что питерские рабочие самый оплот в политической борьбе за..? А вот, и они — «во-имя», во-имя Божие. Я вижу лица, хорошие, светлые, русские, родные, человеческие лица, добрые, вдумчивые лица. Ни злобы, ни раздражения, ни «борьбы».

— И подолгу работают?

— Да разное бывает... бывает, что и на месяц остается, а то... душой охватит, войдет в него благостное, понравится ему святое дело, он и на полгодика останется. А бывает, что и совсем останется, избранные которые, призваны. А это уж как Господь. Человек человеку розь. У одного души во плоти больше, она и покорит плоть. А вот монахи-хозяева — все первейшие мастера с питерских заводов, самые мозговитые, знатоки. А как работают-то... до кровяного пота. Потому-что — во-имя Божие.

«Что нам лениться? мы для Бога, мы уж на то пошли своей волей!» — слыхал я на Валааме часто. А т а м...

Смотрим водопровод, спускаемся в бесконечную глубь земную. Вода поднимается насосом на тридцать сажен. С пролива Мона-

стырского видна гранитная высоченная скала. Прорвали ее порохом монахи, устроили в ней водопровод. Те самые валаамские монахи, крестьяне больше, которые за всенощным бдением в темных углах собора, припав к каменным плитам, смиренно перебирают четки, творят Иисусову молитву.

— Сто сорок две ступени... — шепотом говорит монашек.

Мы внизу, в небольшой каморке из кирпичей. Стены сочатся каплями. В полу — «окно», закрытое решеткой.

— Не угодно ли заглянуть, ладожская водица плещется... не бойтесь, не глубоко, саженьки четыре только... в граните этот колодезь прорван. Сажени на две от берега ведет воду из озера труба... а отсюда машиной поднимаем.

Я встаю на колени, наклоняюсь, гляжу в глубину колодца: черная глубина, вода.

Создателем этого «чуда» валаамского, знамения духовной силы иноков валаамских, был настоятель Дамаскин. Монахи рассказывают, что один инженер просил десять тысяч рублей за план и руководство сооружением. Игумен Дамаскин ответил: «где нам, беднякам, такими миллионами швыряться!» — и отказался от плана инженера. Мудрый и деятельный старец решил делать хозяйственным

способом и нашел «инженера» у себя, — иеромонаха о. Ионафана. Когда-то тот работал на питерском заводе, понимал механическое дело. Он создал план и руководил работой. Весь Валаам работал, — «возревновал о Господе». И вот, после четырехлетних трудов кровавых, явилось чудо, — для Валаама, несомненно, чудо! — которое так потрясло монахов, что даже и тогда, когда посетили мы Валаам, — 30 лет после сооружения, — иноки говорили восхищенно об этом «чуде» и обращали на него внимание приезжих. И что же? Всегда и во всем суровые, строгие к себе, такие трудовые-деловые, мудрые, все еще радовались они «нашему водопроводу», радовались не как знамению силы своей, а как ребята замысловатой какой игрушке.Они совсем не ставят себе это в подвиг,не относят ко «скудоумию» своему, почти и не говорят о том, как шли работы, они забыли даже имя строителя и приписывают его лицу, под управлением которого они жили в обители:

— При игумене Дамаскине сооружено. Он, батюшка, такую штуку воздвиг.

В валаамских книгах об этом значится: «В 1860 г. о. Дамаскин начал и в 4 лета кончил весьма важное для монастыря и замечательное само по себе сооружение». Только и все-

го. В камере водопроводного тоннеля — 142 ступени! — высечена на камне запись: «Поднята вода 1863 лета, декабрия в 12 день». Такие же точно «глухие» начертания встречаете вы повсюду на молчаливом Валааме. Вот чудесная грунтовая дорога в лесной дебри, крепкая — «из хряща». Сколько труда положено было, чтобы провести ее по болотам, по «луде», в трубоцах. Сказано об этом скупо: «проведена сия дорога 1845 года». «Сей мост сооружен 1848 года». А кем — ни слова. Тут труды безымянные, «глухие», не для славы, а — «во-имя». А раз «во-имя», какие же тут могут быть слова о трудностях, о лицах, — «о суемудрии»!

Показывал нам водопровод монашек-парнишка, «механик при машине», совсем мальчик, лет шестнадцати, худенький. А какая осмысленность в скупой речи, какая сознательность в действиях, какая проникновенность служением во-имя! И сквозь эту осмысленность так сквозила наивность-детскость и... радость, что все это, что только мы здесь видим, — и х н е е, братское, дарованное им Господом. Он, например, совершенно преобразился, оживился, когда привел нас на третий этаж, где стояли большие водоемы, и показал на веревочку: «а тут как бы живой глаз-дозор»!

— Это братия измыслила, сама... наш водомер тут. Как вода дойдет до краев, сейчас гирька на звонок надавит, и пойдет тревога. Я сейчас ремень с машинного привода долой, насос и перестает накачивать!

Я не сказал ему, что это давно в физике Краевича имеется: жалко было разочаровывать простягу. Возможно, что они и сами это изобрели, без нашего Краевича. Потом брат Артемий показал нам сушильню для белья — «сухим паром», потом — гидравлический пресс для отжиманья белья, подъемный кран, поднимающий грязное белье из бани в прачешную. И тут я вспомнил слова купца на пароходе: «на все у них машина»! На ферме, на скотном дворе, на пристани, в мастерских, — все машины да «приспособленьица». Вокруг нас всюду шуршали приводные ремни, работали станки, визжали сверла. А я-то думал — косный народ монахи. А эти монахи, — сплошь простаки-крестьяне, — знали неизмеримо больше меня, студента, в «делах земных». А в «неземном»... — что уж тут говорить. Они постигли сердцем великую поэзию молитвы. Они знали каноны, акафисты, ирмосы, стихиры, какие-то — я не понимал, что это, — «кондаки», «гласы», «антифоны», «катавасии»... Они как-то достигли тайны — объединить в душе, слить в себе нераз-

дельно два разных мира — земное и небесное, и это «небесное» для них стало таким же близким, таким же почти **своим**, как видимость. Я тогда еще смутно чувствовал, что они неизмеримо богаче меня духовно, несмотря на мои «брошурки» и «философии».

Я знал их устав — «старца Назария саровского». И пришла игривая мысль — искусить парнишку. Было это на пустынной лестнице водопровода. Я вынул кошелек и достал новенький двугривенный.

— Это вам за труды...

Брат Артемий покачал головой в смущеньи:

— Нет-с... мы денег не берем.

— Ну, на бараночки вам, с чайком попьете...

— Нет, не могу принять. Устав почитайте наш.

Мне стало стыдно. Но я пробовал уговаривать. Мне хотелось и поблагодарить милого мальчугана за рвение, с каким показывал он «славу обители».

— Да и зачем нам здесь деньги? Все равно, если и устав нарушишь, подашься на соблазн... все равно нечего на них купить здесь. Только душой намаешься.

И говорил это мальчик; говорил мне, студенту.

И так все, кому ни предлагал я плату за услуги: «Уж если такое ваше желание благое, положите в монастырскую кружку, на нужды святой обители... пойдет от вашей лепты на бедных, много их к нам приходит». Раз только, сказал мне один брат, тоже отказавшийся от «злата»:

— Уж если желаете оказать мне любовь вашу, пришлите книжку священную... епископа Феофана либо Брянчанинова... ежели только о. игумен благословит.

На стене гостиницы, у входа, висит за стеклом устав монастырский, обязательный для богомольцев и монахов. По этому уставу, без благословения о. игумена, ни богомолец к иноку, ни инок к богомольцу, ни даже богомольцы друг к другу войти не могут. Но слаб человек, и потому установлен надзор за ним.

Входя в гостиницу, вы заметите строгого лицом монаха. Это дозорщик. Он или стоит на крыльце, или расхаживает по коридору. В кармане у него книжка, где он делает свои заметки. Например: «брат Тихон заходил в келью № 28 и оставался там 10 минут». Это — «око» монастырское, для пресечения нарушений. Иноки говорят: «для слабых духом, для новоначальных и неокрепших с воли».

Какой-нибудь не укрепившийся еще инок

узнает, например, что с прибывшим из Питера пароходом приехали его родные. Какое же искушение для «неокрепшего». Сунется монашек к о. игумену за благословением, а тот по делам в отлучке. Он к о. казначею, — и о. казначей по делам ушел. А повидаться хочется. Вот и бежит монашек в гостиницу и — юрк в келью. А по пятам «око» — наблюдающий: «зачем»? — «С родными повидаться». — «С благословения»? И назад оборотит да еще о. настоятелю доложит. И возвестит настоятель ослушнику «поклончики» или еще, построже. Тогда, сорок два года тому назад, на старом Валааме крепки были порядки, введенные суровым «хозяином» Валаама— о. Дамаскиным, устав старца Назария соблюдался строго — неукоснительно. Как-то теперь там?

Грех силен. «Мир» со своими «прелестями» старается прорваться или пролезть в тихий, укрытный от греха Валаам, смутить и без того мятущуюся иноческую душу. Грех этот проникает с каждым пароходом в сумках и узелках паломников. И потому Валаам особенно зорко следит за новоприбывшими.

Как только раздастся пароходный гудок в проливе, с горы спускаются «дозорные», на которых лежит послушание очень важное: следить, чтобы пароход не спустил на берег

«зачумленного», — пьяного питерца, что бывало, и чтобы раньше прибывшие богомольцы не проскользнули на пароход и не купили бы чего «зловредного». Монахи и послушники, по уставу Валаама, не имеют доступа на пристань, исключая назначенных для досмотра и певчих. Если кто из иноков свободен от послушания, — что очень редко случается, — тот с высокой скалы, от чугунной решетки, только взирает на оживленную пароходом пристань, на вестника иного мира.

Новоприбывшие поднимаются к гостинице, и здесь премудрый о. Антипа делает строгие опросы. Посылочки, письма, «гостинчики» заносятся в особую книгу, препровождаются к о. игумену, и когда тот возвестит — вывешивается объявление, кому из братии присланы посылочки или письма. При Дамаскине было с этим строго. В наше посещение — попроще: только контроль игумена.

— А при батюшке Дамаскине покойном... ох, наплачешься, бывало, с посылочкой... — рассказывали мне на Валааме. — Разморит тебя о. игумен словом своим, что каленым железом сердце твое прожгет, вот как было.

— Да зачем же это?

— Строгость была в нем несокрушимая. Он, может, сам сколько искушений претер-

пел, вот и ревновал о благочестии. Опытом знал, как грех внедряется. Да вот, расскажу я вам один случай. Поступил к нам послушничком из Питера один человек. Ну, зиму пробыл — ничего. Только, как сейчас помню, пришел к нам мая 12 первый пароход. Раньше нельзя к нам достигнуть, лед по озеру носит. И приехала с этим пароходом сестрица того послушничка, брата Василия, купчиха она была. Приехала сестрица, и гостинчиков корзиночку привезла: ну, икорки, пастилки, рыбки, вареньица, изюмчику, — все по постному, чинно. Брат Василий и увидь ее в церкви. Ну, та ему и пошептала мимоходом, что вот, мол, гостинчика тебе привезла. После обедни, брат Василий к о. игумену за благословением: «так и так... приехала сестрица, благословите, батюшка, гостинчик принять». А батюшка Дамаскин прозорливец был, смаху, бывало, ничего не делал. Сейчас — казначея. «О, казначей, поди, говорит, дознай, какая-такая к брату Василию сестрица приехала, какой-такой гостинчик ему привезла. Позови-ка ее сюда к нам с гостинчиком-то ее». Ну, пришла сестрица, благолепная такая, торгового сословия, такую вот корзиночку с собой принесла, еле тащит. Посмотрел о. игумен в корзиночку ту... да и говорит, грустно-проникновенно так: «и сколько же ты,

мать моя, денег-то извела... и на что только! Такую пищию-то генералам только вкушать-услаждать мамону... а нам где, грешникам... нам бы щец постных похлебать — и то слава Тебе, Господи». Та, было, оправдываться, то сё, расстроилась с непривычки: «от достатку нашего, батюшка... братца порадовать... привышный он к такому...» — «Брате Васильчко!» — говорит о. игумен, и таково жалостливо: — «ну, чем тебе у нас худо? голодно, что ли, тебе у нас? вкушать, что ли, нечего тебе у нас?..» Тот ему в ноги, со всем усердием. — «Простите, батюшка... сама привезла, не просил я...» — Брате Василичко!» — опять говорит, о. игумен, и жалостливо все так, — «я то, грешный, икорку вкушаю, что ли... пастилкой усаждаюсь; а? И не стыдно тебе, брате Василичко... обидел ты обитель нашу...» Ну, а сестрица все просит гостинчик принять, во славу Божию. Ласково так взглянул на нее о. игумен. — «Не надо нам твоего гостинчика, матушка... И к чему это нам, такие роскоши... ведь на соблазн! Станет брат Василичко икорку есть, а увидят у него братья и отцы и сами возжелают, и коль раньше не просили, так просить зачнут, чтобы и им родные икорку да пастилку привозили...» Так и не благословил принять гостинчик.

— Ну, а теперь осматривают у вас посылки?

— Да как же не досматривать-то? Да мало ли чего в посылку напхают. В миру-то диавол лесть свою как внедряет? Все норовит, чтобы все шито-крыто было... а ты разверни с благословением-то, обмозгуй, ан пакость его и выплывет наружу. Такой у нас, к примеру, случай был... Приходит к нам табашная книга... А вот такая, табашная. Прислали одному брату книгу священную, поучения Иоанна Златоуста... Ну, сейчас к о. наместнику, игумен в отлучке был. Тот, благословясь, и давай ее разворачивать. Развернул, — а там... та-бак насыпан! да так хитро, листов через десяток... и незаметно вовсе, тонко так, рассеяно, для сокрытия греха. Ну... сжечь велел в пещи огненной. И в скляницах присылают непотребное... Есть тоже разные богомольцы, разве его прознаешь. Иной приедет не для моленья, а чтобы развратить-соблазнить... а потом и смеется, как он монахов обошел... не он, понятно, а через него нечистый проникает, с пути свести. Это тоже знать надо, искушения эти. Он-то вот как ополчается на святое дело... иноки только чувствовать это могут. Вас-то, мирских, чего ему соблазнять, вы у него в кармане, а он тут норовит сработать, тут ему крепость по-

перек дорожки стоит, вот и старается одолеть. Вы опытных старцев поспросите, они вам скажут, как он ожесточается, когда видит, что человек над своими страстями поднялся, ветхую плоть одолевает, чистый дух в нем проявляется. Вот тут-то самая страшная борьба, даже до видимости. Все великие подвижники это свидетельствуют, самые высокочистые особенно. А вы чего так улыбаться стали, не ве-рите вы..? Ах, эти образованные неверы... да ведь это то века та-ак... читайте отчие книги, отецкие... все святые Отцы...

Тогда я улыбался. Тогда я чувствовал мир реальный, вот этот мир, и только. И многое объяснял — «физиологией». Ныне... Ныне стала скромней сама наука, осторожней: и ей открываются «миры иные»: знаемый мир ей тесен, ищет она — иных. Не называя — ищет.

VIII. — НА ПАРОХОДИКЕ ПО СКИТАМ. — ОТКЛИК ИЗ ДАЛИ ЛЕТ. — В НИКОНОВОМ ЗАЛИВЕ.

В сенях гостиницы монах продает билеты на пароходик монастырский: собираются ехать к часовне Андрея Первозванного, что на горе у Никонова залива, — служить молебен.

До двадцати часовен на Валааме, по островам, на пустынных дорогах, в дебрях: воистину — глушь святая. Бывало, зайдешь в леса: какая первозданность! Белки тут не боятся человека, и птицы не боятся. Да что белки! Не боится и крупный зверь. Слышишь — трещит по чаще. Стоишь и ждешь. И вот, выходит на дорогу... олень? Олень. С ветвистыми рогами. И смотрит, вкопанный, влажным, покойным глазом, — без удивления, без страха. «А, ты это, человек... знаю тебя...» — так, будто, говорит молчанием, взглядом. И

— ничего, перейдет дорогу. Пугает как-то нежданная такая встреча, будто нездешняя. И смутно припоминается, как-будто: где-то... такое было..? Пройдешь — и новая встреча, тоже совсем нежданная: часовня. Глушь, дебри непроходимые, а тут, в полумгле заломчика, в часовне, — Богоматерь, лампада, воск, корочка хлеба, оставленная как дар — какому-нибудь доброму лесному зверю: Божий дар. Изумишься: в дебрях, лампада теплится! светит не Лику только, а этим дебрям, лесной глуши, чистой природе Божией. «Человек освящает дебри...» — помню, бродили во мне мысли, светлые мысли, рожденные этим светом валаамским. Топили, крыли — «физиологию». Из этих дебрей возвращался я чем-то исполненный, чем-то новым, еще неясным... — благоговением?

Путь к часовне у Никонова залива идет проливами, мимо отвесных скал, покрытых лишайником и мохом, зарослями брусники и черники, — целые ковры на камнях, алые, бордовые, черные, в глянце-мате. Вьются проливчики между скал, и вдруг — откроется Ладога, вольная гладь озерная, морская. На скалах леса, леса. Вон мшистая ель упала, вырвало её ветрами, висит высоко-высоко, корнями уцепившись, вот свалится. Или — вдруг вынырнет из-за скалистого мыса весь

сказочный какой-то, зачарованный островок. На нем сочная, нежно зеленая трава, нехоженая никем, дремотная. Золотые на ней стрекозы, уснувшие в полете. Сон-дрема. И тихие, светло-зеленые березки, белые-белые, дремотные. Не простые березки, а святые, — так они чисты, девственны, детски-нежны. И видишь, — грибы под ними! И грибы сказочные, дремотные. И сколько же раз, бывало, поднималось желанье в сердце: «вот, хорошо бы остаться здесь». Такое только во сне бывает: сказочное, дремотное, — неземное. Или — заросли камыша, тихая-тихая вода, кувшинки, желтые, белые, — глубина. Вот, кончилась всякая вода, нет дороги, впереди высоченная стена гранита. Как же наш пароход пройдет? Под стеной, на солнце, красный ковер брусники: сочная, крупная, нездешняя. Протягиваешь руку, — дотого близко это, сейчас за бортом, царапает пароходик берег... — и вдруг, отошла стена, и снова залив широкий, и в глубине его, между скал, голубеет приволье Ладоги.

Пароходик «Св. Николай» — не больше хорошей лодки: как мы усядемся? Столько народу едет. Из окна нашей кельи вижу, как направляется к пристани о. Николай, присланный на исправление старик-священник. Его послушание — ездить с богомольцами по

скитам и служить молебны. Монашонки-певчие чинно идут за ним. Пора и нам. Теперь я понимаю: пароходик потащит лодки. Нас приглашают «в почетные», поедем на самом пароходике, в каютке: на случай непогоды. Лучше бы в лодке, чудесная погода, какое солнце!

— А вы на нашу погодку не полагайтесь, у нас сразу надвигает, озерная погодка, — говорит послушник с шестом, для продиранья в проливчиках.

И правда: ясный и теплый день напрасно поманил нас августовской прощальной прелестью. Надвинулись низкие дождевые облака, леса на скалах померкли, заволоклись. Ехать ли? На Валааме с погодой не считаются: и непогода от Господа, принимай. Озеро разбушуется — пусть бушует. Маленький пароходик кутается в дыму, шипит. Машинист-послушник, коренастый малый, сидит на дровах, поджидает, когда усядутся богомольцы в лодки.

— А чего это машина твоя так шипит? — спрашивают его. — Уж и старинный ваш пароходик, котла-то не разорвет?

— Что?!.. — с изумлением отвечает машинист, словно и не слыхал никогда, что котлы разрывает.

— Да... котла, спрашиваю, тово... не разорвет?

— Да разве можно? да что ты, брат..?

— Да почему же нельзя? — спрашивает, видно, знающий, может быть тоже «механик», питерец.

— Да нельзя... да как же это... разорвет! да тогда скольким людям погибель!..

— Про то-то и говорю...

— Не-эт, у нас это не бывает, чтобы котлы рвало... да разве это можно? У нас так, что и не умемши машиной заправляют, а ничего... сипит только, боле ничего.

Говорят бывалые, что с этим машинистом можно хоть в океаны ехать, дело знает. Вон пароходик стоит, чуть побольше-то, «Валаам»... так он с ним «Петра» в Питер водил по всей Ладоге, и то ничего, довел. Сломал «Петр» винт, на камень напоролся. Ну, «Валаамушка» его и повел по озеру, глядеть забавно: сам махонькой, а энтот громадина какая! Да тут никогда плохого не случается, Угодники наблюдают.

Богомольцы набиваются в две большие лодки. Пароходик свистит по-детски, отчаливаем с молитвой: «Волною морско-о-о-ю-у... скры-ы-и-вшего...» На кормах лодок стали крепыши-послушники с шестами — править. В каютке сел о. Николай, печальный. Тут

же с нами устроились три питерские девицы в платочках. Рыжий послушник-певчий, видимо, старался показывать свое искусство перед девицами: пел с выражением и вздохами. Девицы поглядывали на него и чего-то шушукались. Стали капризно возмущаться: и что-то все из духовного поют... романсик бы какой спели!

— Есть у нас для вас и романсики, духовные только! — слышу я не без удивления галантный разговор послушника, нарушившего тем самым — разговором с девицами — все правила валаамского устава.

— На свободе здесь, — вздыхает о. Николай, — меня-то они не стесняются. — Природа... годы молодые, дух-то и не удержишь.

Мальчики-певчие убегают на палубу, и оттуда слышится их возня.

— Трубу!.. трубу сымай!.. — кричит рулевой.

Подъезжаем к каменной арке Владимирского моста. Этим мостом проходит дорога в скит Всех Святых. Труба снята, и пароходик проползает под мостом, кутая нас в дыму. Поем «Достойно». Прибегают в каюту два монашонка. Один надевает шляпу о. Николая, другой подходит к нему смиренно и говорит: «благословите, батюшка». Монашонок в шляпе истово благословляет. О. Нико-

лай кротко улыбается на них, треплет по раскрасневшимся личикам. Вспоминает, должно быть, своих ребят.

— А не пропоете ли, мадамы, стишок наш валаамский с нами? — галантно, как питерский приказчик, восклицает рыжий певчий и сует девицам книжечки со «стишком».

Девицы весело соглашаются. Рыжий принимает позу, как тенор на театре, и, заложив живописно руку за кожаный пояс своего полинявшего подрясника, баском зачинает «стишок». Дозорное око» далеко, а о Николай... кто же его боится!

«Стишок» трогательный и длинный. Его сочинил молодой инок, рясофорный монах о. Петр, спасающийся в скиту Александра Свирского, «на горе». Скит этот дальний, глухой, подвижнический. О. Петр готовится там принять полный чин ангельский. Может быть и схимонахом станет. Стих выражает восторги инока перед неземной красотой обители. В памяти моей сохранились еще иные строфы. Вот, помнится:

О, дивный остров Валаам!
Рука божественной судьбы
Воздвигла здесь обитель рая,
Обитель вышней чистоты.

Богоизбранная обитель,
Пречудный остров Валаам!
Тебя дерзнул воспеть твой житель:
Прими его ничтожный дар!

Не знаю, как воспеть сумею
Твои долины и поля,
Твои леса, твои заливы,
Твои священные места.

Мне перечесть не хватит силы
Твоих подвижников святых,
Но их поросшие могилы
Легко пополнить могут стих.

Девицы легко осваиваются с простым мотивом и поют с увлечением. Рыжий послушник, видимо, забывает, где он. Он лихо поправляет свою скуфью, ерошит пышные волосы, чтобы падали на спину волнисто, очень приметно охорашивается. Девицы кричат ему: — «нежней, нежней пойте!» — «С нашим удовольствием-с!» — восклицает рыжий.

Я о тебе сказать не смею:
Ты так прекрасна, хороша!
Сложить я песни не умею:
Перед тобой она бледна.

Конечно, инок-стихотворец разумеет под ней обитель, но рыжий, кажется мне, разумеет совсем другое. Он смотрит на девиц, и его рука прижата к сердцу. Понимают это и девицы: прыскают вдруг в ладошки. О. Николай вздыхает: «ах, молодость, молодость...»

Думал ли я тогда, слушая стишок этот и подпевая вместе с юной женой моей, что к концу моей жизни, нашей жизни, отзовется в душе моей этот ненастный день, — какой же чудесный день! — и вспомнится живо все, — глубокая тишина лесная, сеющий дождик, кулички на отмели, о. Николай, которого уже нет на свете, и — этот рыжий игривый послушник? Всю жизнь хранилось это во мне, крепко забытое, и вот, срок пришел, и все восстало нетронутым, ярким, до ослепительности. И связанное с ним, другое, важнейшее.

— Вы откуда изволите..? — спрашивает меня худощекий инок, приятный такой лицом, смиренный.

Я его давно приметил. Он сидел на палубе под дождем и смотрел на леса и воды грустно-внимательно.

Я сказал, откуда. Он продолжал смиренно:

— И мне скоро придется Москву увидеть. После завтра уезжаю туда, а оттуда в Восточную Сибирь.

— Почему же так далеко... в другой монастырь переходите?

— Такое послушание дано нам. Мы с братом — назвал он другого послушника, сидевшего тут же, молча, — назначены, и принимаем душевно послушание сие... во Владивосток. Монастырь там открывается.

— А давно вы на Валааме?

— Годов пятнадцать. Трудно расставаться, все тут родное. Вот и езжу теперь по скитам, прощаемся. Ах, хорошо у нас, век бы не ушел...

Он грустно глядел на стены серых скал, на редкие елочки в щелях утесов.

— И не поверите, как грустно. Сибирь... там чужое все. А здесь у нас братство. Я из крестьян, трудно крестьянам... а здесь — братство у нас...

Встреча, каких много в пути бывает. Думал ли я, что эта встреча отзовется во мне, почти через полвека, в конце жизни, чтобы я что-то уразумел, важнейшее..? Думал ли и он, отъезжавший в неведомую даль, что назначено ему, как и молчаливому его спутнику, великое исполнить, светом всю свою жизнь наполнить и, может быть, — да так оно и случилось, — много жизней наполнить и освятить! что на-

ши пути некогда опять скрестятся, духовно встретятся? А вот, случилось...

Осень, 1935 год. Прошло как раз сорок лет с той прогулки на пароходике. Я получил письмо. Письмо было не ко мне, а к моему собрату, с просьбой передать мне некоторые, может быть, небезынтересные для меня сведения. И правда: сведения оказались не только интересными, но — для меня — значительности великой и бодрящей.

После поездки на Валаам, я написал первую свою книжку, юную, наивную, немножко, пожалуй, и задорную, — студент, ведь, был! — — задержанную цензурой, — пришлось из отпечатанной уже книжки изъять более 30 страниц и заменить их, с поправками — написал книжку — «На скалах Валаама». Давным-давно разлетелась она по всей России. Еще перед войной не мог я найти ни одного экземпляра даже у букинистов. Одну книжку послал я на Валаам игумену Гавриилу, принимавшему нас когда-то в своих покоях. В книжке была описана и поездка к часовне Андрея Первозванного, бойкость рыжего певчего и встреча с иноками, принявшими послушание в далекую Сибирь. Некто из хорошо знавших Валаам, читавший мою книжку, и прислал письмо, полагая, что для меня небезынтересно будет узнать судьбу описан-

ных мною лиц. Я глубоко признателен автору письма, напомнившему мне забытое. И что же! Давно забытые — сорок, ведь, лет прошло с той поры! — оказались и по сей день живыми. Жизнь их, поистине, удивительна. Вот что пишет мой доброхот.

«Как мною уже сообщалось Вам ранее о рыжем послушнике Георгие, которого И. С. Шмелев так неподражаемо представил в своем сочинении и который впоследствии настолько остепенился, что принял монашество, священство и даже великую схиму, и теперь в великом смирении совершает свой великосхимнический подвиг; так мне хотелось бы сообщить о двух иноках, упоминаемых И. С., которые одновременно с рыжим послушником совершали свою последнюю поездку по скитам родной обители, так как на другой день этим двум инокам предстояло навсегда расстаться с родным для них Валамом. В эту памятную поездку И. С. с ними беседовал и добрым словом помянул их в своей книге. Эти два инока — Сергий и Герман — на другой же день после встречи их с И. С. отправились на Дальний Восток за святое послушание. Там они основали Новый Валаам, святую обитель, под наименованием «Уссурийский Свято-Троицкий Николаевский монастырь». Эти два Валаамских инока, Сер-

гий и Герман, настолько идеально поставили дело устройства новой обители, что, по созидании ее, обитель эта славилась не только в Сибири, но даже и в России своей примерной монашеской дисциплиной, строгостью своего устава и своим благотворным влиянием на все окружающее. В некоторых отношениях обитель эта даже превзошла свою духовную матерь — старый Валаам. Именно, оборудованием собственной типографии, которая печатными произведениями снабжала не только весь Уссурийский край и Сибирь, но даже делилась со Старым Валаамом.

Упомянутые иноки Сергий и Герман доселе живы, пребывают они в России, в Ростовском крае.

Старейший из них, о. игумен Сергий, святостью своего подвижнического жития снискал к себе такое уважение, что ему митр. Сергий предлагал сан епископа, но о. Сергий умолил владыку, по своему глубочайшему смирению, оставить его в сущем сане.

Уссурийская обитель не избежала общей страдальческой участи: все ее братство большевики разогнали, большой книжный и иконный склад монастыря сожгли, деревянные храмы тоже сожгли, а в братских корпусах устроили свой пресловутый «совхоз».

Так на бывшем месте святе — ста ныне мерзость запустения!

Преподобнейший о. игумен Сергий, в течение четверти века, неусыпными, сверхчеловеческими трудами создавший идеальную иноческую обитель, сам видел все ее разрушение и все сатанинское издевательство над ее святынями... Теперь, горькими слезами оплакивая общее крушение и разорение своего детища, он ждет смерти от Господа, как желанного успокоения от всего жизненного подвига его. В монастырской библиотеке есть портрет сих двух иноков — Сергия и Германа».

Эти строки многое мне открыли. Что говорю я, — многое! Огромное мне открыли, чего и предполагать не мог автор письма того. Открыли таинство человеческой судьбы, неисследимую духовную глубину и силу человеческой личности. Раскрылась завеса прошлого, почти полувекового, и что же я увидел! Жизнь творящуюся увидел, и жизнь — творящую. За эти сорок лет, неведомыми чудесными путями, создавался «духовный человек», возрастал из заурядного парня-молодчика в послушнической ряске — в великосхимника-подвижника и смиренного служителя Господня.

Взрастил его Старый Валаам, — русского

молитвенника-старца. Подвиги его неведомы, и если нельзя нам пока учесть, что он дал малым сим, приходившим на Валаам за духовным хлебом, ясен для нас его личный подвиг: совершенствованья духовного, — во имя Господа.

А те два инока... За эти десятилетия, изо дня в день, несли они великое послушание, творили высокий подвиг духовного просветительства, выполняли завет Христов: «шедше убо научите вся языки...» — «возьмите иго Мое на себе»... Крестьянские парни русские, пошли они с Валаама в далекий и дикий край и понесли туда Свет Христов. Сколько тягот и лишений приняли, жизни свои отдали Свету, стали историческими русскими подвижниками, продолжателями дела Святителей российских. И в этих подвигах и страданиях сохранили святое, и это святое в них, видимое народу, среди мерзости духовного опустошения, какой же пример и сдержка для окружающих, ободрение и упование для алчущих и жаждущих Правды. Такими жива и будет жива Россия. Таких взрастил и посылал в мир Старый Валаам.

Многое мне открылось, великое. И еще, важное. Закрыты человеческие судьбы; в явлениях жизни, случайных и незначительных, таятся, порой, великие содержания: будь-

осторожен в оценках; в трудную пору испытаний не падай духом, верь в душу человека: Господний она сосуд.

Подумать только... четыре десятилетия! Сколько всего ты видел, получил радости, — и страданий тоже, — и жил большею частью, для себя. А эти, трое «случайных встречных»... Их жизнь — вся в подвигах: в подвигах возрастания духовного, служения «малым сим»... до полного отвержения себя. И еще, радостное, бодрящее: это — родное, от твоего народа.

Мы — в глубоком Никоновом заливе; глубина его, говорят, до сорок саженей. На угловом утесе белый фонарь-маяк. Когда на озере буря, фонарь призывает плавающих в спокойный залив. Деревянная пристанька, домик для рыбаков. Тишь и глушь. Говорят: а, «куда, укрылся, поглядели бы, скит Александра Свирского, вот где глушь-то! а высота... воистину с Господом беседа». Глухая тишина залива, лесов и камня действует на душу. Певчие умолкают. Держатся еще в памяти строки «валаамской песни»:

Андрей Апостол — есть преданье —
Крестом рассеял мрак греха,
Предрекши веры процветанье,
Поста, молитвы и труда.

Начинается настоящий дождь. Бежим в гору, к часовне. О. Николай поет молебен. Богомольцы прячутся от дождя под лапами старых елей. С высоты видно озеро, мутное за дождем, сумрачные леса, утесы, крестик заброшенного в леса скита. Возле часовни стоит деревянный крест, знаменуя тот, древный Крест, поставленный, по преданию, Апостолом Андреем. Дождь переходит в ливень. Бежим с горы по тропинке, раскатываясь на скользких иглах. Народ набивается в каюту, давка. О. Николая притиснули, но он кроткий, не скажет слова. Говорят опасливые: сколько набилось-то... ну, пароходишка затонет! Этого быть не может: нельзя потонуть на Валааме, Угодники не допустят, никогда такого не случалось. Певчие в ободрение поют: «Волною морско-о-о-ю-у...» Подхватывают все радостно, уповая: «Го-о-нителя, му-у-чи-теля... под землею скры-ы-и-иша-а»...

Вступаем в узкую канаву. На камне врезано: «сооружена сия канава 1865 года».

— Стоп, машина-а!.. Го-тово дело!.. — весело кричат с лодок.

Дно пароходика скребет, пароходик дрожит и хряпает. Мальчик-монашонок свешивает за борт голову.

— Что, брат ты мой... сели на мели! — ве-

село говорит он мне и хлопает по плечу: доволен.

И все богомольцы рады. Кричат: «паддай пару, машинист!» «чего там пару, будем зимовать!.. Эх, хорошо, братцы... пропадай, Питер»!

— Братия, слезай на луду, пароходик облегчить! — кричит машинист, — корма села! Богомольцы прыгают на островки, принимаются собирать бруснику. Монахи-кормщики недвижно стоят на лодках. Машинист с кочегаром отпихиваются шестами, повисли в воздухе над водой. Монашонки шмыгают с кормы на нос.

— Брат Пётра, налега-ай! — кричат с лодок.
— Угоднички, выручайте!..

Советуют спеть «Дубинушку», но постарше — остерегают: она к святым местам не подходит, тут молитва верх берет. Наконец, после общих усилий богомольцев, монахов и машины, после тропаря и «Дубинушки», которую всетаки затянули на лодках не очень громко, пароходик высвободился, — и опять вереница заливов тихих, громад гранитных, проливчиков, островков, старый сосновый бор, таинственный, безмолвный. Вон уж и монастырь. Воцаряется благочиние. Монашонки опять смиренны. Певчие зачинают тропарь Преображению. На лодках крестят-

ся — кресты золотые видно! — и подхватывают раздольно-весело:

«Преобразился еси на горе-э»...

IX. — СВЯТОСТИ. — В БОЛЬШОМ СКИТУ. — ВРАЗУМЛЕНИЕ.

Под сводами ворот, в заломе, — монастырская лавка «святостей». Строгий монах-хозяин не предлагает богомольцам свои товары: не умеет, что ли, — или грехом считает. Ответит только, сколько стоит. Скажет — и стоит в раздумьи. Все — только для богомольца из народа. Валаам не угождает случайному туристу, нет ему дела до туристов: лучше бы их и не было, соблазна меньше. Старый Валаам — суров. Богомолец его — по нем, простецкий, трудовый, духовно-постный: требует крестики и образочки, «из житий», картинки-притчи. Слышишь только:

— Для святого угла бы... за полтинник.

— Из божественного... наставительного чего бы.

Или, редко: «Библию бы, настоящую, большую самую... чтобы уж и внукам проника-

лось, сколько годов все собирался, со святого места...»

Нам хочется чего-нибудь из местного.

— Нет ли у вас валаамского чего-нибудь, ху-дожественного?

Монах не понимает. Смотрит недоверчиво, как-будто: «эти питерские, из чистых... развлекатели, все бы им для забавки...» — думает так, пожалуй.

— Это чего, худо-ственного... как разуметь?

Стараюсь объяснить, попроще: ну, поделок из валаамского гранита... ну, пресс-папье, каких-нибудь фигурок... на письменный бы стол... Он не понимает, что за пресс-папье!

Стоит — молчит.

— Может быть, ларчик для колец... такой, изящный? на Урале делают, такие...

Нет, молчит.

— Тут для богомольцев, «святости»... поделок нету.

Фи-гурки..? из валаамского гранита?! игру-шки..?!

— В Питере... там всякие безделки. Тут — «святости».

На Валааме не тратят время на безделки.

Рыбу на удочку не ловят: баловство. В Проливе не купаются: грех, вода свята.. По грибы, по ягоды ходить для развлеченья — прихоть: ходят в послушание, во благовремении, для обихода.

Есть только деревянные изделия — святыньки: крестики из можжевелки, из кипариса-древа, свято-афонского, да ложки с видом Валаама и «благословеньем» на черенке: станешь вкушать — о Валааме вспомнишь.

Мы выбираем ложки.

Древний старичок, совсем слепой, что-то ковыряет за прилавком, — нанизывает большой иглой оливковые косточки, свято-афонские, для четок. При каждом новом покупателе он еле подымается с отлакированной годами табуретки и не голосом, а выдыханьем, — до того он слаб, — смиренно предлагает свое изделие: «на святую обитель, пожертвуйте... тридцать хоть копеечек, как щедрость ваша...» Мы покупаем четки. Старичок светится улыбкой, поверяет угрюмому монаху, как ребенок: «дал Господь-то... вот и еще четочки приняли... сла-ва Тебе, Создателю...» Он детски счастлив, что еще может послужить обители во славу Господа. Вспоминаю и корю себя: зачем не взял у него еще, еще, все четки, какие только были. Вот бы доставил радость! Ведь труд для него — святое,

подвиг, как молитва. На Валааме все — в трудах: от самого игумена, от столетнего схимонаха — до мальчугана-монашонка, привезенного отцом «на выправку», — по обещанию, «для Бога». Здесь все в работе — и душа и тело. И все — во-имя. С зари до зари. А ночь? Да есть ли ночь на Валааме! Чуть забылись, а в половине 2-го ночи очередной «будильщик» призывает: «вре...мя пе-нию..... мо...ли-тве ча....а-а-ас..!» И все звонит, звонит.

А вот и схимонахи, на фотографии. Это купить необходимо: это уж — «валаамское», туземное. Десять их, в схимах-колпаках, с крестами, костями, черепами. Стоят рядком, потупясь, смиренные. Должно быть — непривычно было. Но — н а д о было. Во главе — игумен. Н а д о было: требовал народ, «из святостей», под образа, украсить «святой угол». Это — свет Валаама, его слава. Какие лики! Святые старцы, из древности, — о т ц ы. Самый высокий — схимонах Иоанн, молчальник, четырнадцать лет молчал. А вот, с краю, схимонах Сергий, смиреннейший. Долгие годы мучительно страдал в болезнях и, несмотря на боли, ни единой службы не опустил. Мне про него рассказывали на Валааме.

Сильный духом был смиренный Сергий.

Болезнь «заживо его съедала». Какая — неизвестно. Болел он долго, т а я л. Может быть, и рак. Однажды, за долгой службой, не смог и он преодолеть ужасной боли. Подошел — подполз к своему старцу-духовнику, в слезах, — может быть, в слезах стыда за немощность, — и стал просить: «отпусти, отче, в келью... помираю... благослови отойти...» Но строг был старец. Мотнул головой, сказал: «а кто канон будет стоять за тебя? правило кто слушать будет? — «Невмоготу, отче, силы нет стоять...» — «Не можешь стоять — сиди». Ох, не могу уж и сидеть, отче...» — «Не можешь сидеть — лежи. Лучше во храме Божием отойти, на молитве стоя». И не отпустил. И выстоял смиренный Сергий.

Рассказывал мне о его кончине инок Серафим:

— При храме нес я послушание. Помню, кончилась обедня. Подходит ко мне схимонах Сергий, — чуть шепчет, как дуновение от ветерка: «прощай, отец Серафим... прощай...» А сам так-то светло плачет, обильными слезами. А я раньше еще приметил, как он во всю святую литургию плакал... так-то плакал! И вопрошаю его: «чего ты, отче Сергие, так плачешь?» А он мне, как бы дуновением, чу-уть слыхать, во сне уж будто: «ах, отче Серафиме... кабы всегда так пели, как нон-

че... век бы не ушел... как ангельские гласы... и уж так мне хорошо-сладостно, оттого и плачу... будто я был на небесах...» И вся мантия у него заплакана... вся мокрая-мокрая, от слез. — «И причастился я Св. Христовых Тайн... и так-то теперь легко мне... и боли мои не мучают, уснули...» Полобызались мы в плечико. А как стали звонить к вечерне, он и преставился. А это уж дух его тленное попрал, боль и уснула... заране одухотворился. Вот был смиренный..!»

Нам понравился образ Угодника: светлый проникновенный лик. — Спрашиваю угрюмого монаха: чья работа.

— Отца Алипия. Иконописной ведает.

Алипия... Я вспомнил. Говорили мне про него.

— Когда-то в высокой академии учился, медали золотые получал за свои картинки... «мир» писал.

Теперь не пишет «мира»: иконы только.. Когда-то не совладал с бореньем, оставил Валаам.

— Духа не смог смирить... Перестал спать, мутился.

И вернулся — покорился Валааму. Не стал уходить в леса, на острова, писать в безмолвии природу Божью. Принял постриг. Пишет святые лики, только. Я возмущался таким

порабощением: вытравил из него Валаам живую душу! Мне говорили:

— Нет, не так все это. Наш Валаам освободил ему живую душу, а не поработил. Святые лики ниже, что ли, по-вашему, земной красы, которая прахом распадется? Святой лик есть отображение Господня Света. Ну-ка, напишите кистью Господень Свет..? Тут уж не живописное искусство, а благодать Господня. Вот наш о. Алипий теперь и прозирает духом, ищет в ликах Господень Свет... подвиг высокий принял. Никакое не порабощение, а воодушевление. Нетленное пишет, небесновечную красоту.

Теперь я знаю: высокое искусство в вечном.

Шестой час вечера. Солнце совсем над лесом, скоро за Валаам укроется. Надо бы в Большой Скит, неподалеку; завтра в Коневский едем, а там — отъезд. Не поздно ли? О. Антипа советует, даже понуждает мягко:

— Ножки у вас молоденькие, чего вам — поздно! поглядите наш Большой Скит, строгие там подвижники, и строение богатое, храм какой. Только супругу-то не впустят, женский пол там только на Престол пускают, в день Всех Святых. Ну, что же, проводите супруга, за воротами обождете. Ишь, друж-

ные вы какие, все-то вместе. А то и на лошадке вас свезут...

Не надо нам лошадки, пробежим, — в лесу чудесно.

Быстро идем, бежим: надо вернуться к трапезе, не огорчить о. Антипу; строгий он, порядок любит.

Мимо пустынной пристани, Проливом. Солнце зашло за Валаам. Померкло, засвежело. На берегу монашек-старичок складывает щепу — для пароходика. Рыбаки - монахи растягивают на держалках сети; только что осмолили: крепкий запах, до сердца проникает. Пахнет щепой еловой, смолой, водой и... ладаном? Валаамом пахнет. Это запах вечерней свежести, сетей смоленых и — святости? — запах Валаама, обители «за гранью мира», — называл я так, — впитался в память, и доселе слышу. Трудники все еще копошатся, рубят гранит, чеканят, пилят... проволочной пилой! — как странно. Хочется смотреть, а надо к трапезе вернуться. Бежим. Молотки гранильщиков постукивают реже, трудники устали, посиживают на гранитных глыбах.

Вот и лес. Дрема и тишина ползут из чащи. Скоро доползут и до собора, служка ударит в колокол, и день закончится. Кончится день

на Валааме, а там, на Ладоге, еще заря: там еще огненное солнце.

Рука с рукой, бежим мы глушью. На дороге еще светло. Видно, как прорыжело что-то... белка! Смотрим, как вьется в елях. Под ними уже сумрак, гуще. Пахнет теплом еловым, пряным . Дорога в гору. Видно с холма, как извивается дорога, на поворотах дремлют сосны. Вот где глушь-то! Что-то шуршит над нами, мягко, рыхло... — большая птица, потонула в чаще. В зеленоватом небе уже белеют звезды — точки. Смотрим в небо. Белые кисейки-облачка, недвижны. Слушаем... — ни звука. Вот она, тишина глухая. И почему-то грустно. Бежим.

По каменному мосту, над водой. Черная вода, глухая. Заглядываем, в жути: верхушки елей, небо, — тьма и свет. Как жутко опрокинуто в бездонность! Бежим... Часовня! Нет, не одни мы здесь. Лик Богоматери, взирает. Лента, венчик, светится подсвечник. Смотрим... Ладаном, как-будто пахнет. Войти? Не входим, поздно. А хорошо молиться в дебрях. Ну, успеем...

Лужайка, звон колокольца, треск сушняка... Что это... лошадь! Выходит на дорогу, протягивает губы, просит хлеба. Жаль, нет с нами хлеба. Монахи приучили, носят хлеб. Ласкаем, треплем по губам. Кроткая какая,

нежные какие губы... бархат. Бежим, оглядываемся: все стоит, ждет хлебца, смотрит.

Высокий крест, гранитный, черный. Странно, — крест, в лесу! Стоит — и смотрит. Оглядываемся — он смотрит. Нет, не жутко, а легко теперь: стоит, благословляет.

Вон, что-то забелелось, — стены башни, — скит Всех Святых. Где-то вода блестит в деревьях. Пруд? Рощица, там... холмик? Могила чья-то, крест. Нам грустно. Проходим мимо огорода. Ворота на запоре. А вот калитка. Тут предел: женщинам нельзя. В калитку видно: двор, трава, густая, темная. Башня на углу, — как крепость. Надо расставаться. Жена робеет, просит — поскорей, недолго... Садится у ворот на травку. Вот странно, — женщинам нельзя! Только почему-то — в праздник. Жалею, зачем пошли сюда. Глухое царство, мрак.

Иду по травке — и шагов ни слышно. Тишина, глухая, как... в могиле. Храм, тихий, в пустоте. Вон казармы, словно... низенькие, — кельи? Холодный отблеск в окнах, неуют. Досадую, зачем зашли сюда, «в могилу». Думаю — вернуться, и слышу кашель, глухой, тягучий. Оглядываюсь. Темный кто-то, чуть надвигается, от храма. Схимонах? Прямо ко мне, п о л з е т. Мне жутко.

— Кто там..? не вижу... кха-а-а...

Ползет. Вспоминаю «Вия», — «подымите мне ве-ки...» Жуть берет. Говорю, робея, и слышу как четко отзывается от келий:

— Я, богомолец... скит посмотреть...

И чувствую, что говорю неправду: теперь мне нечего смотреть здесь, скорей бы выйти на свободу. Но поздно: он надвигается.

— Кха-а... поздненько, уж трапезуем, ночь. Ну, кто такой?.. — смотрит на меня из-под куколя, с крестами, — из ученых, что ли? А, студент... вот кто... это какие всех умней... слыхал. Сдалече?

Голос у схимника глухой, «могильный».

— Из Москвы.

— Из Москвы... далече. От нас все далеко. От земли дальше — к небу ближе... — показывает в небо пальцем. — Ну, пойдем... покажу наш храм. Вот, только псалтырь читал. Псалтырь-то разумеешь? Хорошо. День и ночь читаем по отшедшим отцам и братиям. Все отойдем в свой срок... нас будут поминать. Человек, яко трава дние его... разумеешь? Ну, пойдем.

Иду безвольно в сумрак храма. Мерцает одинокая лампада. Ладанный, душный воздух. На сводах — иноки, тенями. Темный иконостас чуть золотится, смутно. Старый псалтырь на аналое. Схимонах затепливает свеч-

ку. Я различаю под куколем с крестами мертвый нос, мохнатые седые брови, — строгий лик бородка клинушком, как пакля. Вспоминаю такие же бородки у наших плотников и штукатуров, в детстве видел. Думаю: все тут, на Валааме, из народа. Черный покров на аналое, в серебряном глазете, — поминальный. Подвижник тычет по аналою свечкой, нащупывает вставочку. Говорит «загробно»:

— День и ночь читаем по два часа, очередное. По-церковному-то разумеешь? Ну, чти... послушаю, как ты разумеешь... мы-то малоучены... послушаю.

Я в смущеньи: экзаменует, этого недоставало. Знает, что слаб я по-церковному? И почему я должен ему читать? что я ему, мальчишка? вот попал-то. И ничего не видно: желтый лист, весь в воске, в пятнах, титла эти... кто тут разберет!

— Ну, чти... вот, кончил я... чти... — в лист, тощим пальцем.

Мне тесно. И не могу ослушаться, неловко как-то. И стыдно, что осрамлюсь. Мелькает в мыслях: «может быть он провидец... знает, что пришел «из любопытства»... и нарочно, чтоб пристыдить, экзаменует?.. святому это не подходит, это уж издевательство...» И не могу ослушаться: попался. А он все тянет:

— Ну, чти... ка-к ты разумеешь..?

Захлопнуть книгу, повернуться, и..? Нет, непристойно. В волненьи, вглядываюсь в строки, — поразобраться в титлах... и — радость! Знакомое... с детства помню, из «Шестопсалмия»! С Горкиным читали, от всенощных осталось крепко. Читаю твердо, не глядя на титла, —

...«скажи мне, Господи, путь, в оньже пойду, яко к Тебе взях душу мою...»

Что, слышишь? — думаю, что, лихо? вот тебе и «из ученых»!

...«Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой: Дух Твой благий наставит мя на землю праву».

— Ишь, хорошо разумеешь... во-ка-ак... — хвалит схимонах, а я-то думаю: «нет, не поймаешь... не провидец...» — А разумеешь ли, что сказано... тебе? Враз, ведь, ты попал... какое слово-то! а, разуме-ешь?..

— Разумею... — отвечаю я, не разумея.

Выдержал экзамен. Выходим. Мне легко. И схимонах приятный. Пахнет лесом, волей. Гляжу на башни.

— В крепости живете? — говорю-шучу: легко мне.

— С кем нам воевать, от греха оплот. В лесу живем, по чапыге ползем, неприметно, ти-

хо... ан к могиле-то и подполз, и зарыли... вся и жизнь тленная, земная.

Вся жизнь ползти к могиле! Не понимаю. Кто-то у Шекспира... про бренность жизни... да, в «Гамлете», «бедный Иорик», над черепом смеялись, а этот так спокойно, страшно... Валаам вдруг представляется могилой... все ползут, накрывшись мантиями, с крестами, черепами... «неприметно, тихо» подползазают и...

— День отжил — к могиле пододвинулся... — вздыхает схимонах, спокойно.

— Чем вы питаетесь? — спрашиваю я зачем-то.

— А капусткой, водицей, хлебцем... Все едино червю могильному на пожрание приуготовляемся, тленною плотию. А душа-то... туда! — показывает он в небо.

В зеленоватом небе — звезды. Ночь. Прощаемся, Старец плетется к кельям — «приуготовляться». Бегу к воротам.

— Как ты до-лго... — слышу я милый голос — облегченный вздох.

Беремся за руки, бежим во мраке. Из чащи веет жутью. Глушь, мрак. И вот, как радость, — колокол, вдали. Это в монастыре, «повестка»: к трапезе. Теплом пахнуло. Берег, сети. Старичок плетется в гору, к монастырю.

— Трапезовать, батюшка, пора... кончился денек, слава Всевышнему... помилуй нас, Исусе-Спасе... — ласково говорит он нам.

Мы рады, идем с ним, говорим. Так славно — «Исусе-Спасе», — с лаской.

С горы все царство Валаама видно. Свет за нами: на озаренном небе — четкие верхушки елей. Восходит месяц, золотится в елях. Свет и впереди: белый собор, кресты сияют, видят месяц.

О. Антипа спрашивает, понравился ли скит. Говорю — да... только грустно там... и страшно. Он не понимает:

— Ка-ак... стра-шно?! Да что ж там страшного... святое место, самый главный скит наш, подвижники приуготовляются... чего же вам страшного там показалось?..

Говорит с укором. Мне досадно, что я смутил его. Стараюсь объяснить, чтобы он понял наше насторение:

— Не знаю, батюшка... настроение...

— Че-го... не-строение?

Нет, не понимает.

— Да как вам объяснить, не знаю... такое наше настроение.... все только о смерти да о смерти, все приуготовляются, всю жизнь! И все кресты там, и могилы... и ночь еще... вот и показалось страшно.

Он смотрит с сокрушением.

— А, ка-кие вы... пу-ганые! Чего ж это вы кре-стиков страшитесь? Это бесы только креста страшатся. А мы, православные христиане, крестом живы. А могилок чего пугаться! За могилкой-то и отворится... жизнь вечная, во Христе... духовному-то человеку. А бесчувственнику, не-строение у кого, — чего же может отвориться..! А, какие несмыслё-ные, а-а-а... Ну, Господь направит. Небось, устали? Ну, скажу уж, принесут вам в келью, Господь с вами. Не-строе-ние..!

Легко от вразумления о. Антипы, от кроткого его журенья. Есть хочется. Хватаем свежий просфорный хлеб, крутой, душистый, валаамский. Окно открыто. Веет прохладой, Ладогой. Жуем и смотрим. Месяц уж над лесами. Жизнь чудесна! И все чудесно. Так и будет — все дни и дни, все завтра, завтра... бесконечно. Не считаем дней, не думаем. Жуем и смотрим.

X. — СТРОИТЕЛЬ ВАЛААМА. — НИКОЛАЙ СМИРЕННЫЙ. — СТРАННИК.

Все величавое, крепкое, что видите на Валааме, связано с именем Дамаскина. Это был замечательный хозяин, строитель, строгий подвижник, железный характер. Часовни, кресты, дороги, каналы, скиты, гранитные лестницы, водопровод, корпуса, колодцы, сады, храм великолепный, мастерские, фермы... — все это создано его волей, его умом. Он собрал живших по лесам и дебрям отшельников-одиночек и водворил по скитам. Он пополнил устав мудрого старца Назария Саровского, ввел суровую дисциплину. Это был игумен с железным посохом. И этот железный человек пишет в своем завещании такое.

«Я всю жизнь любил Валаам, любил каждого из вас. Мое сердце было всегда отверзто для нужд ваших... Но я был человек грубый, простой, необразованный, — естествен-

но, что искренняя, глубокая моя любовь к вам иногда не находила себе приличных внешних выражений».

Это писал крестьянин, не получивший в миру никакого образования. Судьба его примечательна.

С юношеских лет Дамиан — мирское его имя — восчувствовал тяготение «к мирам иным» пошел странствовать по монастырям, отыскивая себе место «душевного усовершенствования», пока не водворился на Валааме. Замечательно, что несколько странных явлений — «знамений»? — как бы указывает ему пути.

Когда он шел впервые на Валаам, встретились ему старцы с Белого моря, шедшие с Валаама в монастырь Александра Свирского. Старцы эти низко поклонились ему, юноше, одетому по-крестьянски.

Когда он пришел на Валаам и шел лесной дорогой в скит Всех Святых, встретился ему монах Феодорит и сказал: «Оставайся-ка у нас. Трудись на послушаниях, в скиту и в пустыне. На, возьми мои четки».

Когда он пришел в скит Всех Святых, старец Евфимий, прозванный монахами «духовной улицей», за умение уловлять души, земно поклонился новоприбывшему.

И юноша остался в лесах и пустынях Валаама.

Старец Евфимий видел в юноше Дамиане готовность идти путями, какие будут ему указаны. И он приступает к ковке великого характера, — будущего игумена-хозяина, строителя и подвижника. Он, например, устраивает длинную выдвижную палку и каждую ночь, в 12 часов, приходит будить своего ученика на полунощную молитву и стучит палкой в окошко во втором ярусе, где была келья брата Дамиана. И юноша бурной зимней ночью, по пояс в снегу, шел из рабочего дома к полунощнице в монастырь. Этот старец Евфимий был — или казался только, приняв это за подвиг, — юродивым, всем земно кланялся и непрестанно плакал «горючими слезами». В архиве монастырском хранится письмо монаха Иллариона, где тот свидетельствует, что по его горячей просьбе явился ему воочию умерший старец Евфимий, обещавший это ему при жизни.

Нестяжательность юного Дамиана старец испытывал, например, тем, что взял у него икону — благословение старика-отца. Он запретил ему обмывать бренное тело и даже менять белье. Наконец, Дамиан удостоился принять иночество, и старец его оставил — удалился на житие в пустыню.

По благословению игумена, монах Дамаскин водворился за шесть верст от монасты-

ря, в непроходимой глуши лесной, на берегу двух озерков. Было ему тогда 32 года. Он стал избегать встреч и разговоров, ел гнилую пищу, изнурял плоть свою и носил вериги. В бурные осенние ночи дождь стучал по стеклу оконца, завывал в трубе ветер, гудел страшными голосами бор, а Дамаскин стоял на молитве. И так — семь долгих лет. Иногда в ночи — говорит его житие — из озерка поднимался кто-то страшный, с растрепанными власами, стучал в окно кельи, ломился в двери. Иногда тьма бесов плясала вокруг кельи, и келья сострясалась, как мельница.

Потом — трудная жизнь в скиту Всех Святых, потом долголетнее игуменство, полное кипучей деятельности, всяческое строительство — хозяйство.

— Не хотите ли взглянуть на последнее деяние нашего батюшки о. Дамаскина, новое кладбище? — предложил нам всюду нас провожавший монах-руководитель. — Увидите и лесной питомник.

К этому кладбищу ведет от монастыря длинная аллея из пихт и лиственниц. Кругом — царство лесных пород: кедры, дубы, клены, липы, пихты, серебристые тополя, березы, лиственницы, орешник... — все трудами Дамаскина.

— Тут и питомник наш, любители выписы-

вают в Питер, и благодетелям посылаем в подарочек. А больше по островам рассаживаем, камушки наши одеваем, украшаем.

Возле красивой церкви, с византийским сводом, — кусты жасмина, шиповника, жимолости, сирени, роз и какой-то «пахучей елочки».

— А вот могила о. Дамаскина.

Высокий гранитный крест над гробницей из темного гранита, кругом цветы, много душистого горошка, — любил его о. Дамаскин суровый. Недалеко от церкви — келья старца Назария-саровского, перед ней опять крест гранитный. Любил о. Дамаскин сооружать, и сооружал из гранита, на веки-вечные. Даже на ферме, дву-ярусные «венские» погреба — из вечного гранита. И лестницы, и мосты, и обшивка канав-каналов, — из гранита. Монахи говорили, с лаской: «да и сам наш батюшка будто из гранита тоже: сколько трудился-то, и силы на все хватало... и не от болезни помер, а повалил его паралич».

Куда ни пойдешь на Валааме — всюду встретишь, совсем нежданно, крест гранитный или гранитную часовню. Зайдешь далеко в лес. Дорога неведомо куда уходит. Впереди лес стеной, камень-глыбы. Забываешь, где ты... — и вдруг, на повороте, под широкой елью, как под шатром, — часовня. Дверь от-

крыта; на аналое крест и евангелие; кадило, псалтырь, старинный, и благодатно взирает Богоматерь, или Спаситель, кроткий, призывает к Себе трудящихся и обремененных. Иногда вылетит пичужка, покрутится над вами и влетит в часовню. А кругом первобытный лес. Ветерок — откуда-то вдруг прорвется, шевельнет голубенькую выцветшую ленту на иконе. Хорошо здесь сидеть, подумать. Воистину, тишина святая. Белка над головой порхает, роняет шишки. А то, случится, выйдет к вам на дорогу олень рогатый, или широкобокий лось, постоит совсем неподалеку, поглядит в обе стороны, заслышит колеса по «луде» гремучей или молитву инока и повернет неспешно в чащу, похрустывая буреломом. Необыкновенное чувство испытаешь, когда увидишь лесную часовенку такую: так вот, будто, и осветит, и дебри не хмурятся и не пугают глушью, а свято смотрят, в самую душу проникают. И веришь, з н а е ш ь, что это все — Господне: и повалившаяся ель мшистая, и белка, и брусника, и порхающая в часовне бабочка. И постигаешь чудесный смысл: «яко кроток есмь и смирен сердцем». И рождается радостная мысль-надежда: «если бы так в с е было, везде, везде... никаких бы «вопросов» не было... а святое братство». И тогда еще, в иные, безоглядные дни, в этом

лесном уединении, наплывали неясно думы, что все, что ты знаешь, школьного, выбранного из книг, случайного... — все это так ничтожно, перед тайной жизни, которая вот раскроется чудесно, которую, быть может знают кроткие эти звери, белка, птичка и бабочка... недрами, как-то знают... которую знают духом отшельники по скитам, подвижники, тяготящиеся земным.

От кельи старца Назария спускаемся под горку, идем березовой рощицей, очень светлой и ласковой, и подходим к избушке под навесом. Углы избушки прогнили, бревнышки поросли плесенью и мохом.

— Эту избушку сам себе схимонах Николай Смиренный выстроил, келейник старца Назария. Один, говорят, топориком работал. Сто лет ей, а все стоит. Он-то, батюшка, на полу спал. Зимой, бывало, снегу набьет, по осени сквозь дырявую крышу дождя нахлещет, а он на полу подвизается. А мы-то, грешные, на кроватях спим да еше жалуемся, что жестко... — говорит монах, будто намек это нам, что жаловались мы на жесткие валаамские постели.

Келья маленькая, аршина два-три. Старая сосна над нею.

— Вот, и тесна, и грязна, и низковата... у вас, в Питере, собашники, небось, лучше ста-

вят, а сюда сам Государь изволил входить, склонившись, со старцем беседовать изволил, не погнушался... вот что-с. Александр Первый... слыхали-с пор него? Вот то-то и есть. А какой Государь-то был, самого первого воина на свете покорил, грозного Аполеона-французского, Бонапарта называется, по книжке! А вот и не погнушался, преклонился... дверка-то низенькая, а он, сказывали, высокого постава был, солидный... и преклонился, так уж, значит, ему надо было, преклониться-то, перед Смиренным батюшкой Николаем... и даже трапезовал репкой у него. Батюшка Николай-то наш простой был, ему и не в страх было. Ну, принял у него репку... «нечем, говорит, вас, батюшка Государь, угостить мне, гостя такого... вот сладкая репка у меня...» И принял, как за хороший гостинчик... похрустал, пондравилась ему репка. Да-а, как поглядишь на все... и-и-и..! где величие, где слава, во что обратится, когда призовет Господь от тлена сего земного? Где величие-то, а? — спрашивает вас монах. Мы молчим. — В смирении величие, потому — что есть мы перед величием мудрости Господней! А вот и могила его, косточки его покой приняли.

Деревянная гробница закрыла могилу схимника Николая, Смиренного. Надгробными

исполинскими свещами стоят над могилой сосны.

— Уж вы простите меня... — сказал вдруг проводник-монах.

Я удивился: за что простить его!

— Да много вам насказал. Не мое дело помышлять такое, а я про величие помыслил... уж простите. Забыл, как батюшка о. Дамаскин в стих писал.

— В стих? — удивился я, — как, разве он сочинял стихи?

— Хорошо умел проповеди говорить... как святой стих высказывал. Начнет таково-напевно, заслушаешься.

— Так вы застали о. Дамаскина?

— А какже-с, сподобился. Я в уме держу стиховные его слова, сладостные. Про нас, пустословов, очень говорил явственно, вот я и вспомнил, во исправление суемудрия моего. Батюшка и сам перед нами каялся, пример давал. А вот, извольте послушать, я каждый день поминаю его стих:

Много сегодня я, братие, грешный, говорил,
Но сам ничтоже пред Господом благо сотворил.
Горе мне грешному и сущу, благих дел неимущу,
Глаголющу, а не творящу.

Учай других — себя не учиши.
Увы, увы! душе моя, горе тебе!

— Святой был человек. И других, слабых, к святости приводить старался.

— В чем же его святость проявилась?

— Чем проявилась-то? — задумался монах. — О благочестии ревновал, ковы бесовы расторгал. Как расторгал-то? Да вот как. Хочет инок из монастыря утечь, — бес его донимает — а наш батюшка и не допустит. Такой у нас был случай. Собрались двое монахов от нас уходить. Усовещевал их о. игумен, нет, не берет его слово их, сердца окаменели, онемели. «Так ступайте же, говорит, к раке преподобного Сергия и Германа да там и скиньте иноческие одежды. Там вы обет давали — там и расторгните. А от меня нет вам на то благословения». Вот как им обернул, ответственность. Ну, те и побоялись, и остались. И прозорливец был. О прелестях мира сего хорошо говорил, в стихи, тоже:

Кто к миру пристрастится,
Тот с пустынею распростится.

— Вот и опять суесловлю, уж простите. Борюсь, а мало, мало во мне смирения.

XI. — ЛЕСНАЯ ВСТРЕЧА. — РАССКАЗ СТРАННИКА. -- ЖУРАВЛИ.

Мы идем по лесной дороге, не зная, куда приведет она. Всюду гранит, мохом поросший и брусникой. Едим бруснику и не осыпавшуюся еще чернику. Много и зарослей малины, только она сошла. Должно быть много здесь рябчиков, — знакомые свисты слышны. На Валааме не стреляют. Чувствует это птица, прилетает сюда и держится. Говорят, — и лебеди бывают и гагары. В Коневском скиту можно и гагар увидеть, — совсем ручные.

Нас обгоняет монах на одноколке, кланяется и говорит: «путь вам добрый, с вами Господь!» Пропал за поворотом, только слышен раскат колес по встретившейся плите «луды». Затихло. Вон, в стороне, упавшее дерево, столетнее, должно быть. Мох забрал-

ся в пустое дупло. Я тычу палкой — одна труха. Сколько же лет прошло, когда оно упало, — полсотни, сто? Из дупла тянется ромашка, повилка. Из-за мшистого пня высматривают глаза... как странно! «Смотри, кто это там... глаза? — говорю я жене. Радостная, она мне шепчет: — «да это... лисичка!» Да, лисичка, совсем ручная. Глядим на нее, не шелохнемся. Глядит и она на нас. Странное чувство — близости и доверия, и неизъяснимой радости... отчего? Самая обыкновенная лисичка, только... умильная. Миг — и куда-то скрылась. В дупло, пожалуй. Может быть там лисята.

Идем и думаем: чудесная какая встреча! Ну, конечно, чудесная. Жизнь здесь какая-то иная, чем там, в миру. Зло как-бы отступило, притупилось. И зло, и страх. Зверь не боится человека, и человек тут тоже другим становится. И вспоминается мне слышанное за трапезой из «житий», как лев защищал какую-то святую от осквернения безумца. Возможно ли? А почему и нет?

Места священные, освященные молитвой. Меняются здесь люди, меняются и звери. Люди здесь не обычные, как везде: здесь подбираются «по духу», — кто-то нам говорил, — «как сквозь решето отсеяны».

Эта лесная встреча на многое наводит мыс-

ли. Люди меняться могут! Что-то есть в людях разного... В деревне, откуда был родом Дамаскин, славный игумен Валаама, были другие мальчики, но они не пошли искать, а вот Дамиан пошел, — «сквозь решето отсеялся». Значит, есть что-то в человеке, что тянется к святому, ищет. Особенное... душа? — то, что не умирает, как верят эти отшельники, что может воочию являться, как свидетельствует письмом посмертным монах Илларион о любимом старце Евфимии, — явившемся ему оттуда, по обещанию. И это, земное наше, стало быть, как-то связано с тем, что — там?..

Прочитанные мною книжки, которым я, студент, безотчетно верил, открывшие мне «точное знание», доказанное научным опытом, отвергающие чудесное, называющие веру в чудесное фантазией и «детским», крепко сидят во мне; но я закрываюсь от них уловкой: ну, да... знание отрицает, объясняет научно все сверх-естественное, но... наука идет вперед и, может быть, как-то, когда-то проникнет в то..? Вот же Лобачевский, установил новый какой-то мир, совсем непохожий на наш, земной, — мир, четве-ртого измерения! И оказалось, что доказанное нашей, эвклидовской, геометрией, — истина очевидная! — что параллельные линии никогда

не пересекутся... — чистейшая ошибка! Я не знаю еще, как это доказал Лобачевский, не знаю и какого-то «четвертого» измерения, но я рад, что Лобачевский, действительно, это доказал, — это же все признали и прославили гениальность нашего математика! — доказал, что параллельные непременно должны пересекаться — где-то **там**, в бесконечности. И кажется, этот гений был очень верующим, как и Ньютон, как все эти добрые валаамские монахи, как старец Варнава, недавно назвавший нас «петербургскими», как-то провидевший, что завтра мы уезжаем в Петербург! Монахи, конечно, совсем необразованные, не знают «Рефлексы головного мозга» Сеченова, не знают и «Происхождения видов» Дарвина, где сказано и почти доказано, что человек произошел от обезьяны, не читали ни «Прогресса нравственности» Летурно, ни «Психологии» Рибо, ни Огюста Конта, ни Иоганна Штрауса, где отрицается божественность Христа... но всетаки удивительные они... разрешают сложнейшие социальные вопросы, над которыми столетие бьются Прудоны, Фурье, Бебели... и даже воздействуют на природу, на нравы зверей, как-то их освящают... своим примером? Тут же я вспоминаю, что на Валааме... — это непременно надо рассказать всем, интересую-

щимся прогрессом нравственности, об этом, конечно, не знают в мире! — что здесь, на Валааме, строго запрещено даже замахиваться кнутом на лошадей! тут даже и кнута не найти, как говорил мне о. Антипа: «у нас все лаской, и лошадка ласку понимает и слово Божие... заупрямится, или трудно ей, у вас в Питере сейчас ломовик ей в брюхо сапогом или кнутом по глазам сечет, а у нас слово Божие: скажешь ей — «ну, с Господом... отдохнула, теперь берись», — она и берется весело. На Валааме никого не бьют, пальцем не трогают, лик Божий уважают в человеке.. — какая высокая культурность и гуманность! — а только послушание возвещают, поклончики и покаяние, перед всеми, за трапезой. Конечно, монахи некультурны в смысле научных знаний, но... они дают удивительные примеры воли, характера, силы духа. Конечно, мне чуждо многое в них, — нельзя же смотреть на жизнь так, как смотрит тот схимонах в скиту, для которого вся жизнь только подползание к могиле, где бренное тело будет червями пожрано, это не жизнь, а ужас! — аскетизм их иногда ужасен, но духовная сила их мне очень симпатична. Часто они — как дети, но... сказано: «сокрыл от мудрых — и открыл младенцам!»

Помнится, такие мысли вызвала в нас с же-

ной — я многое высказал ей тогда, и она радостно слушала, — удивительная эта встреча с лисичкой возле прогнившей ели, — «лесная встреча». Чудесна была эта прогулка: одни, в лесах, без проводника-монаха, один на один с природой. Но нас ожидала и другая встреча, многое нам открывшая.

Лес становился глуше, попадались болотца. Совсем перед нами низко перелетела дорогу большая птица, похожая на курицу, даже заклохтала, и за ней поменьше, штук семь, как крупные цыплята, может быть большая куропатка или, скорей, тетерька. Мы постояли, послушали, как чвокали птицы за кустами, совсем близко. И вдруг гранитная часовня, под елями! Ели положили на ее кровлю широкие свои ветви. На каменном приступке сидел старичок и постукивал палочкой по земле. Это был не монах, как я сперва подумал, а богомолец-странник. На нем был заношенный, в заплатках, полушубок, уже по-зимнему. Мы сели к нему и разговорились. Он пришел издалека, из-под Воронежа, поклониться угодникам.

— Жена давно померла, сын неведомо где... работы пошел искать, вестей нет. Вот и надумал я странствовать. Здесь поживу, а к зиме в Соловки пойду, поклониться преподобным Зосиме и Савватию.

— Нравится вам здесь, на Валааме?

— Хорошо здесь, душевно. Вот сижу и гляжу, чего белки разделывают. По благословению о. настоятеля в Коневский скиток сходил... вот рай-то где, тишина святая... батюшке о. Сысою поклонился, схимонах он там, в пустынной самой пустыне, у озерков. Там игумен Дамаскин трудился, показывали и постелю его — гробок... в гробике спал Побывайте у Коневской, такая тишь-красота, век бы не ушел. А остаться не могу, тянет меня с места на место, как птицу перелетучую... третий год и брожу, гляжу, где лучше. Монастыри-то? А чего лучше монастыря? Тут все по правде, человека не обижают, ласковы... и покормят, и благословят, и хлебца на путь-дорожку дадут. А в городе, как что — только и разговору: «ты бродяга, такой-сякой, пачпорт покажь... а то в каталажку посадят, а за что — неизвестно... а то грозятся, — на родину тебя вышлем... Места, что ли, им жалко... то ли человека опасаются? Разве так можно! А тут доверяют, видят — старый я человек, и работы не спрашивают, а — иди, потрапезуй... и щец подольют-повторят, и чайку отпустят на заварочку, — рай, прямо. Зима тяжела, а летом одно удовольствие. А что я вам скажу, господин... у них тут зверушки совсем освоились, человека не

боятся. Намедни лисицу видал, на пеньке сидела, хвостиком завилась, облизывается. Я встал — дивлюсь, а она ничего, ей я без надобности, будто даже разговору желает, только, понятно, языку нашего у ней нету, не дал Господь. Перекрестил я её — Господь с тобой, творение разумное, — сказал ей, пошел. А она мне вослед глядит, облизывается. Прямо, диво. А сейчас вот на белку радовался... Она тут вот все сигала, над часовенкой, будто ей помолиться надо. Гляжу, а в часовенке шишки лежат, еловые, натаскали они, что ли, на зиму себе... а то так, в игру какую играют. А в скиту рыбы-ы... утром был я, глядел. Мне монах и говорит, при схимонахе Сысое живет: «трогай её клюкой, погладь, они даются». Собралось рыбы, на солнышке, чесуя так и горит, только не щуки, а эти... нет, не караси, а... вроде как голавь, гла-дкие такие... а может и сиги... не знаю прозвания. Ну, я вот этой палочкой и посунул в рыбу, в стаю ихнюю... Ни-чего, не пужаются, трутся возля палочки моей, погладил их, поддел... как уха там, густая-разгустая. На монастырь берут, когда затребуется. А сами ни-ни, там рыбки и на Пасху не полагается, строгий скиток. Заведет наметкой, а то, говорит, и корытом можно, легко даются. А грыба сколько... рыжик уж пошел, по горочкам... и груздь

сть, и боровики какие... и свинухи, и подосиновые... весело ходить. А брать не благословляют... все по череду, для обители послушание дают грыбникам. Намедни ходил я за послушание, вот-какую корзину им приволок. А что, сказывают, скоро будто нашему свету конец будет... не слыхали?

— Не слыхал. А кто сказывает?

— А шел, теперича сказать, я Тверской губерней, в одном селе в ночевку зашел к мужичку. Так богомолка там сказывала: «как будет Благовещенье на Пасхе в четверток, так и ждите свету конец». Не слыхали? Может и так, наплела. А то, сказывали еще, большая звезда оборвалась, на нас, прямо, несется... может повредить нас... не слыхали? Это мне один странник сказывал, от барина узнал. Она уж давно оборвалась, тыщу лет все летит, и лететь ей, прикидывали по стеклам, еще тыщу лет, а тогда может повредить, большой пожар, говорит, зажгет, жару в ней много, железная вся, звезда та. Говорит, на ней тоже, может, люди какие проживают, только самые грешные... много нагрешили, их звезда и не могла сдержать, от грехов-то... значит, уж ей так от Бога назначено, в наказание грешникам... ну, и сорвалась с устоя... Как скажете... вы хорошо грамотные?

— Пустяки, говорю, посмеялся над тобой кто-нибудь.

— Нет, не пустяки. Сам видал, как звезды летают. Тут сколько летало намедни, на Прохора-Никанора видал, к полунощнице шел — видал. Как-то срываются. Кто ж это их оттуда сошвыривает?

Я попробовал ему объяснять, как метеоры пролетают, но, он, должно быть, не мог понять. Да и сам я нетвердо знал про падающие звезды.

— Все возможно, у Бога всего много... никакие ученые не могут всего дознать. А чего дознают, это уж как Господь дозволит. Господь Иисус Христос сколько воскресил мертвых, а ученые хошь бы кого воскресили! Уморить могут, а вот от смерти выправить — не-эт. У меня грыжа, это место, мешком затягиваю натуго... Ходил я, барыня посоветовала, к дохтуру... Мы, говорит, тебя порезать можем, доверься нам. В хорошей больнице я был, и барыня записку дала. А могу, спрашиваю, помереть от вашего ножа? Ну, он рассерчал: «я не колдун, сказать не могу... бывает, что и помирают». Не дался я. В Оптиной был, монах мне отсоветовал: помажь то место святым елеем. Совсем хорошо стало, ушла грыжа внутрь, хожу, ничего. А вот будто, звезды в море-океан падают, люди

говорили... потому и теплые моря те, и тепло там, зимы нет. Есть такие земли, теплые. От нас туда много народу пошло, вольной земли искать, за море. Турки там только, нехристи. А жить там хорошо. Это за Сибирь, за горы. Звали меня, воронежские наши, да куда мне, один я... думаю, по святым местам похожу, душу порадую.

Свистела какая-то пичуга, глухо падали шишки на дорогу. Белочка перепрыгивала в вершинах, пышный хвост ее рыжевато светился на солнышке, в просвете неба. Задумался я... И вдруг — звон легкий, особенный звон — с подтреском, будто на деревянных струнках сухих кто-то перебирал, часто-часто. И все громчей, все ближе, — накатывало стучащим звоном.

— Э, журавли, пожалуй... — сказал странник.

Мы посмотрели в небо. Там протянулась темная линия, в сверканьи. И от этой линии, треугольником, с неровными краями, великим углом звенящим, сыпалось стукотливым рокотом тревоги, радости, будоражной какой-то спешки:

— Как есь журавли, от холоду летят-торопятся... на теплые места, на полдни... — задумчиво сказал странник. — Они знают, морозы скоро будут. За море летят?

— Да, в теплые страны, на теплые воды.

— Зна-ют, куда лететь. Туда и наши воронежские пошли, по машине поехали с ними, за Сибирь, нарезка им будет... землю дает казна, только хлеба больше сейте, велела. А хлеб там, сказывают, сам родится, только посей, чуть поковыряй. А тра-вы там... под самую крышу... житье там! Вот, журавель... птица, а свою пользу понимает. Господь и птицу умудряет, и не голодает она. Не сеет, не жнет, а сыта. И-эх, зажаривают-то... гляди-ка, еще косяк!

Длинный сверкающий косяк пропал за елями. Слабей крики, отдельные выкрики отсталых. И стало тихо, шорохи белок слышны.

— Шабаш, кончилось лето красное, осень подошла... — сказал странник.

Я глядел в светлое небо, за елями. Умолкнувшие крики тревоги-радости остались в душе моей. Остались накрепко. Эта встреча у валаамской часовни, в лесной глуши, не прошла для меня бесследно. Теперь я знаю это. Отозвалась через много лет, отозвалась неожиданно, в унылые дни жизни, когда я искал себя, — и не находил, — когда я служил во Владимирской губернии, и служба мне становилась в тягость. Сколько раз спрашивал я себя, какую же мне избрать дорогу, чего же ищет моя душа. Смутны были эти

тяжкие дни блужданий, недовольства собой, сомнений. Так и буду до конца дней ездить по городкам, проверять торговлю, ночевать на постоялых дворах, играть в преферанс и в винт, выпивать после роббера, ожидать наградных и повышения по службе. Иногда намечался просвет какой-то, вспоминалось, что когда-то писал, печатался, начал сразу с почтенного, «толстого», журнала, студентом, на первом курсе... написал книжку даже, — правда, незрелую и дерзкую, «На скалах Валаама», задержала ее цензура, вырвали тридцать шесть страниц из нее, и пришлось переделать и вклеивать... хвалили меня за эту книжку и бранили... — и после того замолк. Десять лет не писал, ни строчки. Не думал, что я писатель, страшился думать, не смел. Писатель — это учитель жизни. А я? Я же так мало знаю. Писатели, это — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой... И я забыл о писательстве.

И вот, пришло. Помню, в конце августа, в тяжкие дни сомнений и блужданий, чуть не отчаяния, пошел я за реку Клязьму, — уйти от себя, забыться. За Клязьмой, за луговою поймой, тянулись леса, леса. На пригорках, по ельнику, уже появлялись рыжики. Я зашел в глушь, в чапыжник, — ушел из мира. Вспомнился Валаам, святая его пустыня. Та-

кие же ели мшистые, такая же тишина глухая. С той поры десять лет откатилось, был я тогда студентом, — как же это давно было! Тогда казалось, что все впереди, что жизнь только вот начинается. И вот, ничего уже впереди, лямка одна чиновничья, в командировку завтра. Так до конца и будет. Помню, лежал на пригорке, думал в тоске давящей, искал «пути». И вдруг, как в лесах на Валааме... далекий-далекий звон, особенный звон, с подтреском, будто на деревянных струнках перебирает кто-то... ближе, громчей, слышней: Накатывало стукотливым звоном. Вспомнилось — журавли?! С той, валаамской, «встречи», — как раз десять лет минуло! — больше я не слыхал такого звона, звонкого гомона тревоги, радостно-будоражной спешки. Все во мне взбило и перепутало криком этим. Я глядел в небо за елками, ждал тревожно, с волнением и болью.

И вот, как тогда, — о н и. Тот же косяк, углом, с неровными краями, тот же... как там, на Валааме, когда вся жизнь была еще впереди, — самое радостное и светлое, — не было ни сомнений, ни томлений, ни тревожных вопросов — куда определиться, чего искать. Звонкий, сверкающий косяк птиц, хорошо знающих свою дорогу, влекущий, радостно-будоражный и торжествующий. Все

позабыв, мыслью я уносился с ними в глубизну. Затихли крики, угасло последнее сверканье, — потонуло за елками. А я все провожал его, все следил: во что-то смотрел, не видя, — только глубизна, влекущая. Не думая, не сознав, — нашел. Эти две «встречи» слились в одно. С того и началось писательство.

В тот же вечер написал я первый, после десятилетнего ожидания, рассказ, детский рассказ — «К солнцу». Послал в «Детское Чтение». Его напечатали охотно и просили прислать еще. Забыв службу, я писал радостно и легко, не видя, — «в голубизне». Жил и не жил, не сознавая. Не задавал вопроса — куда идти? Скоро почувствовал я силу сказать жене: «кажется, я нашел, что надо... надо бросить службу». Она сказала спокойно, твердо: «я на все готова, лишь бы тебе было хорошо». Не зная, что ожидает нас, она с верою приняла открывшийся неизвестный путь, трудный путь. И ободряла меня на нем всю жизнь.

Думал ли я тогда, у лесной часовни, что все это как-то отзовется в жизни, как-то в нее вольется и определится? И вот, определилось. Связал меня Валаам с собой. Вспоминается слово, сказанное нам схимником о. Сысоем, в скиту Коневском, несознанное тог-

да, теперь, для меня, раскрывшееся: «дай вам Господь получить то, за чем приехали». Тогда подумалось — а за чем мы приехали? Так приехали, ни за чем... проехаться. И вот, определилось, что — за чем-то, что было надо, что стало целью и содержанием всей жизни, что поглотило, закрыло жизнь, — нашу жизнь.

Будоражный, зовущий крик журавлей оставил в нас смутно-грустное, неясный порыв куда-то, мечту о чем-то. О чем... — этого мы не сознавали. Мы долго тогда сидели у часовни, в лесной тиши. Верхушки елей тронуло чуть багрянцем, густившимся золотом заката.

— В монастырь пора, чаек-то уж пропустили... — сказал странник, — скоро и к трапезе покличка будет.

И мы пошли, задумчивые, из этого лесного царства, где освящаются дебри часовнями и крестами, где покоятся останки великих духом, где звери смотрят доверчиво, без зла и страха.

XII. — В СКИТУ КОНЕВСКОМ. — ПРОЩАНЬЕ. — ВАЛААМСКИЙ ДАР.

Мы едем в Коневский скит, — во имя Божией Матери Коневские, верстах в шести от монастыря. К крыльцу гостиницы подан тарантас, запряженный сивой лошадкой. За кучера — монашонок-карел, «молчальник». Он всегда возит о. игумена и сидит на козлах по уставу: со страхом и трепетом. Во всю дорогу он не произнес ни звука. Лошадка неторопливая, ленивая, могла бы и походчей идти, но кнуток Валааму неизвестен: «блажен иже и скоты милуяй».

Погода серенькая, дождливая: унесли лето журавли. Едем лесом. Остро пахнет грибами, осеннею горьковинкой хвои. Намокшие лапы елей цепляют нас за шляпы и осыпают дождем. Неуютно теперь в лесах. А как пойдут настоящие осенние дожди да бури, леса зашумят-завоют, повалят лесные буреломы, — жутко тогда в лесах. А отшельники

по глухим скитам будут выстаивать ночи на молитве, а днями колоть дрова и собирать валежник. А рыбаки-монахи на своих древних ладьях выйдут в бурную Ладогу закидывать свои сети-мрежи; на кирпичном заводе трудники будут мять мокрую глину на кирпичи, каменотесы — ломать на горах гранит; машинист-монах пойдет на качливом «Валааме» за многие версты на дальние острова. Бури, ливни, метели, — все едино: Валаам не остановит своей работы-служения «во-имя»: подвижнических трудов, молитв. К полунощнице — движутся старцы по сугробам, лесам, проливам. Светит им Свет Христов.

Едем орешником. Осенняя на нем ржавчина. Под колесами жвакает, сочится. Что это там краснеет? А, рябина. Мокрые кисти виснут. Скука и неуют. Вон болотце: унылая осока, шатаются камыши под ветром. Мокрый монашек повстречался, несет розовые грибы — рыжики, молоденькие, промытые. Весело нам кивает, словно и нет дождя. Опять часовня, плачет осенними слезами черный гранитный крест. Белки теперь по дуплам, и лисичка подремывает где-то. Вон, над полем с гнилым сараем, тряпками носятся вороны в ветре, — какие-то и у них дела. Гремят по «луде» колеса тарантаса. Прокатили: мягко, опять по иглам. От игол тянет душною

скипидарной сыростью. Ну, вот, приехали. Поперек дороги мокрый плетень из хвороста, — дальше и нет пути: тупик, скит.

Монашонок молча остановил лошадку и остался сидеть, как мумия, — так и не обернулся к нам. Стало быть, выходить. Отыскиваем в плетне проходик. Видим с холма озерки, кусты и церковку. Сеет дождик, скучно шуршит по листьям. Идем мимо черных огородов, доходим до деревянной церковки, — ни души. Воистину — скит, пустыня. Церковка заперта. За огородом, на холмике, две смежные избушки. Это кельи пустынников, связанные сенями. Плачут в дожде оконца, дымок курится и стелется, — дождь надолго. В каменистой горке выбита криво лесенка. Мы, скользя, поднимаемся к избушкам. Да где же скитники? Заглядываем в сени и видим: вот они, жители пустыньки. На полу сидят трое: седенький, тощий старичок в скуфейке, приятный такой лицом, мертвенно-восковым, бескровным; черноватый монах, лет сорока, кряжистый, с горячими глазами, и юный послушник, светлоликий, с тонкими чертами, в золотистых локонах, как пишут ангелов. Сидят молча и старательно чистят лук, режут ботву с головок.

— Бог в помощь, здравствуйте!

Возглас пугает их. Так они были заняты

работой, — а может быть и мысленной молитвой, — что не слыхали, как мы вошли.

— А, Господи помилуй... — сказал старичок-схимник, и я понял, что это о. Сысой, о котором говорил нам странник. — Лучок вот режем, Господи помилуй.

Прочие только поклонились и продолжали резать. Не во-время, видно, мы попали. Стоим, молчим. А они продолжают резать, будто нас здесь и нет. Наконец, схимонах говорит опять, будто с самим собой:

— Лучок вот режем, Господи помилуй.

Я думаю: они разучились говорить, и молчат от смущения. Прошу показать нам церковку и келью о. Дамаскина.

— Возьми ключи да покажи им... все обскажи про батюшку... — говорит старичок мальчику в локонах. — А угостить-то вас и нечем... Господи помилуй...

Мальчик ведет нас к церковке, скребет огромными сапогами по камням. Церковка небогатая, бревенчатые тесаные стены, скромный иконостас; досчатый, в сучочках, пол. Пахнет сосной и ладаном. Я спрашиваю мальчика, давно ли он на Валааме.

— Год скоро. А здесь, в пустыньке, шесть месяцев.

Из Питера он, служил в экспедиции государственных бумаг.

— Что привело вас на Валаам?

— Не знаю... Читал про Валаам, и понравилось, как живут тут, Богу служат.

— Но ведь тут трудно, в такой неуютной обстановке... особенно после Петербурга?

— Святые отцы жили... — говорит он.

Я смотрю на его локоны ангела. Может быть и он «отсеянный»? Таким, должно быть, и юный Дамиан был. Есть такие, особенные, родятся как-то, чуждые «сему миру».

Идем к озеркам. Соединяет их деревянный мостик, над проточком. Берега заросли осокой.

— Говорят, много у вас рыбы?

— Уха живая. Ловим только на монастырь, а здесь рыбку не позволяется и в великие праздники вкушать. Ручная у нас рыба, черпать корзиной можно. Сейчас хмуро, а солнышко когда, так спинки и синеют, перышками играют. У нас в обители там рыбу из икры разводят, завод такой есть. И форель разводят, и сигов, и лосиков... Чего-чего только не делает братия у нас. У нас, прямо, целое государство, только духовное, конечно. И свечной завод, и кожи мочим, и скипидар гоним, и переплетная у нас есть, и лекарственные травы ростим, и сукна валяем, и посуду обжигаем, скудельный заводик есть... и лесопильная, и конный завод, и граниты шли-

фуют, и мрамор полируют. Господь умудрил, и мастера-рабочие тянут к нам, с питерских заводов да и совсюду. Ведь разные люди на свете... есть и озорники, рабочий-то народ, а есть и в рабочем народе «зернышко Господне», на слово Божие идут. Вот и живем, как царство.

Мальчик удивил меня разумной речью.

— Вы где учились?

— Городское окончил, а потом меня папаша к себе в Экспедицию устроил, краски мешать-тереть. Я там рисовать стал... У нас там граверы тонкие, первые граверы во всем свете.

— И жалованье вам платили?

— Конечно. Я получал 24 рубля на месяц, подростковое, как ученик. У нас там особое жалованье, там люди отборные берутся, верные, от отца к сыну, даже дедушки служили. Ведь там и деньги заготовляют, и надо держать секреты, там все крепкие люди, верные.

И он — ушел! Значит, тоже крепкий, «отсеянный». Юный совсем, — и такое жалованье, театры, всякие соблазны, лакомства в магазинах, семья, очевидно, зажиточная... — и ушел в глушь сюда, в скит, в пустыньку, лучок режет, гремит в таких сапогах, — ноги, небось натерло... — «понравилось, святые отцы жили»!

— Вы читаете здесь какие-нибудь книги?

— А как же, отцов Церкви... Исаака Сириянина, Макария Египетского... что «старец» укажет, о. Сысой. Он тоже зна-ет Писание. Простой он с виду и очень смиренный духом, а твердый в искусе. Он руководит хорошо, толкует мне. Только он, конечно, меня жалеет, добрый очень... Строже бы надо, а он что же... за искушение сто поклончиков, а больше и не возвестит.

К нам подходит схимонах Сысой.

— А вот здесь, — показывает он на камень у воды, — птицы-гагары гнездо вьют и птенцов выводят... и нас не боятся. Гагара-птица нелюдимая, самая, строгая, любит самую даль-крепь... глухие, значит, места. А вот, еще при о. Дамаскине, когда молодой он был, больше полсотни годов все ведутся гагарки-то. И каждый год только одна пара прилетает.

— И сегодня прилетали?

— Нет, ноньче что-то не воротились, первый год так. Малоптенцовые они, больше парочки не выводят. И вот, первый год не прилетели, а то всегда. Это их в миру злой человек, может, напугал... пострелил, может.

— Вы давно здесь в скиту?

— Два годика. А то все дозорщиком был в Никольском скиту, на островке. До схимы о. Стефаном звали.

— А это что такое — «дозорщик»?.. на Никольском островке служили?

— Монастырь берег, от приходящих. Зимой по льду к нам бредут... ну, и стерег, обыскивал. Дело Божье, нельзя пропускать... искушение несут нам, есть такие озорники. Грех протащить хотят, запретное. Слабые есть из братии. Ну, я табачок в озеро, и еще чего, похуже... об камушек. И огорчения бывали... били меня лихие люди. Потрудился, а вот теперь на отдыхе — грядки копаю, лучок сажаю. Молиться-то? И молюсь, по малости... Господи помилуй. Ну, дай вам Бог получить, за чем приехали. Проводи их, сынок, покажь келейку батюшки Дамаскина... сказал о. Сысой послушнику. — А я уж пойду, лучек режем. Ну, спаси вас Бог, Царица Небесная.

Он заковылял к своей келье, а мы перешли мостик и поднялись на горку, где под дубками, кленами и липками стояла пустая теперь келья игумена Дамаскина.

На стене сруба прибит четырехаршинный крест, работы Дамаскина.

Мы вошли в келью-клеть. Эта клеть, простая изба, разгорожена на четыре клетушки. В одной он работал, — а и повернуться негде;

в другой молился, в третьей переписывал священные книги, в четвертой почивал.

— Вот его моленная.

Клетушка шириной в аршин, длиной в два. Аналойчик, икона, стул. В крохотное оконце виден краешек озерка, холмик, поросший лесом. Здесь искушали его бесы, устрашали, осенними бурными ночами, в этой живой могиле А он молился. И продолжалось это семь долгих лет, до главного подвига — строительства царства валаамского.

— А вот его постель.

В клетушке, под оконцем, досчатый гроб на полу и в нем рогожка.

Мы вышли. Дождь перестал. Всюду висели на листьях капли, сверкали живыми алмазами на солнце. Выглянуло оно из тучи, сияло в мелкой волне озерка холодным блеском. Кораллами горели обвисшие рябины. За озерком, о. Сысой — на огороде, копает лук.

— Прощайте, о. Сысой! — подошел я к нему.

— Бог простит, Бог простит... простите нас грешных...

Я пожал с грустным чувством его восковую руку — ручку. Было мне почему-то его жалко, думалось, старенький, не долго ему пожить осталось. И еще подумал: «а ему, может

быть, это радостно... ведь он верит в вечное, небесное..»

— Прощайте... больше уж не увидимся... здесь... — сказал он, словно на мои мысли, и посмотрел мне в глаза. Было в его глазах что-то... чего он не высказал словами: «там свидимся»?

Я прошел в сени келий. Черноватый монах все еще обрезал лучок.

— А, уходите... Вы уйдете, а мы останемся. А скажите... слыхал я, немцы, будто, войну воевать хотят... не слышно? — таинственно спросил он.

— Не слышно.

— Ну, а как у вас там, в России, ничего?

— Ничего.

— А мне вот богомолец один сказывал... будто у России с Францией дружба завязалась... правда?

— Правда.

— Ну... не ладно это. Француз, — он хитрый. Напрасно Россия с ними связывается. А что... голод, будто, недавно был?

Этот был обыкновенный, до мира жадный, с живыми, даже горячими глазами, — «неотсеянный»: так и останется «в решете».

— На будущее лето, может, заглянете, новенького чего расскажете. В лесу живем, птица пролетит — не скажет хоть и много видит.

Этот не «отсеется» никогда.

Мы сели в тарантас. Недвижный, насквозь промокший мальчик карел сонно повел вожжами. Бойко пошла продрогшая лошадка, посыпало крупным дождем с орешника.

В сенях гостиницы стоит у дверей о. Антипа с блюдом. Мы кладем нещедрую жертву нашу, за щедрое гостеприимство. О. Антипа кланяется в пояс.

— Маловато погостили, маловато... — жалея говорит он, — хорошо себя вели, и привык я к вам, милые. Скажете о нас доброе словечко там.

Мы обнялись и поцеловались.

— Скажу, батюшка... есть, что сказать. Много видел я доброго, чего и не ожидал увидеть.

— Вот и не забывайте нас, добрых-то. Хоть и отбились мы от мира, а все люди... не забывайте нас, проведайте. Сейчас вы к о. игумену, проститесь... да к угодникам прежде сходите поклониться, к Сергию-Герману, батюшкам нашим. Они вас в пути сохранят. А поклажку вашу мы на пристань доставим. Ну, с Господом.

Мы поклонились Угодникам и поднялись в

покои о. игумена — получить, по валаамскому обычаю, благословение в путь

— Ну, как вам у нас показалось? — спросил о. игумен.

Я сказал — что сердце велело мне. Он видимо был доволен:

— Далеко нам до высоты подвижнической... тщимся, сколь можем, в меру духовной скудости нашей... — сказал он просто, благословляя нас. — Всегда вам рады будем. Скорбеть будете — приезжайте помолиться. Молитва — все и богатство наше.

Сходим по гранитным ступенькам к пристани. Грустно нам уезжать, — привыкли? Пароход «Петр» привез новых богомольцев, на праздник Успения, после завтра; тянутся они в гору к гостинице. Говорят, что на 28 июня, день памяти преп. Сергия и Германа, бывает до пяти тысяч богомольцев. Всходим на палубу. Внизу монахи поют «Достойно». О. Николай грустно смотрит на отъезжающих. Мне жаль его. Кричу — «прощайте, о Николай!» Он подходит нервными быстрыми шагами к борту, растерянно моргает, силится не заплакать. Голова поникла, руки заложены за спину, — приговоренный будто.

— Прощайте... — уныло говорит он. — Туда, на родину вы... к своим...

Вытирает красным платком лицо и задерживает платок у глаз.

— Ведь четыре года я здесь... и никакого распоряжения! Забыли, не дают прихода. А как же мне без прихода-то... семье на шею. Бедные мы, бессильные... У кого связи, а у нас — ничего.

Я с грустью думаю, что и у меня нет связей, ничем не могу помочь. Жаль только.

— Истомился... — шепчет старик, чуть слышно, — чувствую, скоро и совсем обсижусь тут, не будет и тянуть туда. Прощайте, голубчики мои.

Впоследствии я узнал, что опасения о. Николая оправдались: он навсегда остался в монастыре.

По сходням идет монах, машет нам чем-то, завернутым в белую бумагу.

— Обители благословение на путь вам.

Я беру с поклоном, развертываю и вижу — хлеб! Чудесный хлеб валаамский, ржаной, душистый, с тонкой корочкой, пахнет и пряником, и медом. Отрезок длинной ковриги, фунтов на пять. Тут же мы и едим его, крестясь на золотые кресты и синие купола собора. И с этим валаамским хлебом вкушаем в последний раз, впитываем в себя, в сердце кладем себе благостное, что видели и вняли, что освтило нас, первые шаги жизни нашей.

Мы едим валаамский хлеб, тесно у нас в груди. Глаза смотрят на все прощально, жадно. Никогда больше не увидим? Никогда. В грезах увидим, в снах.

Гудок. Прощай, Валаам, чудесный, светлый. Мы говорим друг другу, — говорим взглядами и понимаем: как хорошо мы сделали, что выбрали — почему-то — Валаам целью поездки нашей, первого в жизни путешествия. Говорим глазами:

— Правда, ведь хорошо?

— Правда, хорошо.

Второй гудок. Матросы закрыли борт. Певчие-монашенки звонкими дискантами зачинают: «Преобразился еси на горе-э...» Послушники поддерживают басами. На пароходе подхватывают тропарь. Катится по Монастырскому проливу, в камнях отзывается, в лесах.

Третий гудок. Пароход отваливает от Валаама. Богомольцы снимают картузы, крестятся на собор. За решеткой, на высоте у монастыря одинокие черные фигуры смотрят, — не разобрать: иноки провожают прощальным взглядом. Ползет за ним пенистый хвост воды, расходится длинными косами, катится к каменистым берегам, шлепает белой пеной. Мимо скита Никольского, — Ладога там блестит.

— Прощай Валаам... до будущего года! — слышатся голоса на палубе.

На граничных утесах лес островерхих елей. Над ними золотится крестик скита Всех Святых.

Вот и вольная Ладога играет. Пролив — за нами. Виден весь Валаам, весь в солнце, зубья его утесов. Где-то на высоте, за соснами — деревянная церковка-игрушка: дальний скит, Александра Свирского. Снежно сияет светило Валаама — великолепный собор с великой свечою-колокольней. Дремлет. Лазоревые его главы начинают вливаться в небо, лазоревое тоже. Белеют стены в зеленой кайме лесов. Снежная колокольня долго горит свечой — блистающим золотом креста. Мерцает. Гаснет.

ОГЛАВЛЕНИЕ



Imprimerie Alon, 35 rue de la Harpe, Paris V.